

**МАРК БЕРКОЛАЙКО**  
**СЕДЕР НА ИСКРОВСКОЙ**

*Когда ж придет дележки час,  
не нас калач ржаной поманит,  
и рай настанет не для нас.*

*Б.Окуджава*

**I**

*Я не ручаюсь за точность описаний событий, фактов, улиц, домов, игры цвета и смесей звуков и запахов; не ручаюсь за точность дат.*

*Ручаюсь лишь за то, что здесь нет ни одного выдуманного персонажа.  
Я стал часто видеть их во сне...*

На гульбе в честь своего семидесятилетия дед сдавил переднюю ножку тяжеленного стула и поднял его с пола на вытянутой руке. Плечо бывшего молотобойца сработало играючи, только крупная кисть, вцепившаяся в изогнутое основание ножки, побелела, выделив лиловый орнамент переполненных вен.

Повторить это смог только огромный, шумный дядя Коля, Коля Рябинкин, муж маминой сестры, тети Шевы. И то пришлось ему покряхтеть, и очки соскользнули с крупного носа, и дышал он потом прерывисто и тяжело. А отдышавшись, завопил:

– Ну, Григорий Яковлевич, ну вы – мужчина! Уважаю!!

А совсем немного лет спустя дед умер. Умирал тяжело, в бесчеловечной бакинской июльской жаре, и машины, проезжавшие мимо невысоко поднимавшихся над тротуаром окон, чмокали шинами, отлипавшими при каждом обороте от вязкого, жирного асфальта...

Впечатление, будто весь Баку пропах нефтью, возникало нечасто. Только осенью или ранней весной, когда ветры дули от Черного города, расстилались дымы нефтеперегонных заводов, и повсюду висел дух воистину тяжелой индустрии. Он въедался в плоть бакинского люда и заталкивал в его задыхающиеся легкие угар ударных темпов пятилеток.

Но когда летними вечерами, смягчая жару, от бухты дула благословенная «моряна», то к ароматам моря, к дымкам прибрежных шашлычных и чайхан едва примешивался запах мазутных пятен, напоминая, что и в основе духов, в основе томительной сладости «Красной Москвы» лежат высокие фракции все той же бакинской нефти.

Однако по зажатой между холмами улице Искровской, по этой узкой горловине, лишь последними своими метрами взбегавшей наверх, к Кемерчи-базару, «моряна» никогда не пролетала. И асфальт размякал, и прижимался в торопливых засосах к вечно спешащим шинам, и источал резкий запах неуголенного подросткового влечения.

Много позже, когда экраны наших телевизоров стало пучить от быстрой голливудской стряпни, услышал я в тишине ночной квартиры такие же торопливые чмокания поцелуев, символизирующие волну страсти, накатившую на полнокровных героев и героинь. И было это смешным и немного тошнотным, хотя тем летом схожие звуки будоражили воображение, отвлекая слух от частого поверхностного дыхания умирающего деда...

Иногда дыхание чуть успокаивалось, и дед звал в полузабытье бабушку – на древнееврейском, на идиш, на итальянском – но она не подходила. Коротко, мимо-летно приходя в себя, он уже по-русски просил дочерей, мою мать или тетю Шеву обтереть его губкой, пропитанной горячей водой, но пока воду согрели на электроплитке или керогазе, дед опять уходил в свой многоязычный полубред... а бабушка роняла спокойно и веско: «Нечего суетиться! Скончается – тогда обмоем!»

Она сполна мстила его распадающемуся телу за те часы, когда оно, еще горячее и сильное, щедро делилось своей витальностью с той – другой, с гойкой, шиксой, парвеню, выскочкой, разлучницей. Впрочем, и разлучнице мстила, не разрешив проститься с дедом ни при последних всполохах его уходящей жизни, ни потом, когда он лежал настороженно-задумчивый, словно прислушиваясь к еще не знакомой речи инобытия, ничуть не схожей ни с одним из семи языков, с которыми был на «ты»...

Я никогда эту женщину не видел, не знаю даже, как ее звали, поэтому представляю такой, к какой тянулся бы сам, когда б мне стала совсем уже чужой библейская бабушкина красота: невысокой, курносенькой, с крепеньким крестьянским телом, суетящейся вокруг наконец-то пришедшего дедушки. А ждала еще с утра, с неуверенного предутреннего просветления. Крутилась на постели, сохранившей его запахи, их запахи, запахи вырванного у ежедневных хлопот часа, когда детей отправляли поиграть во дворе, но надо спешить – ведь того и гляди стукнут в дверь: то ли дети... пописать им, видите, срочно захотелось: то ли соседка за луковицей... завтра, мол, отдам. Да пропади ж ты пропадом со своим «завтра»! Возьмет он, да и не придет завтра... мало ли, вдруг разлюбит... или жена не отпустит, найдет, чем занять. И не будет никакого «завтра», и не придет он больше, и ничего больше не будет...

Но он приходил. Каждым будним вечером, сорок с лишним лет...

Наверняка сорок с лишним, ведь я отчетливо помню, как незадолго до выноса к гробу подошла женщина этих примерно лет. Она держала за руку испуганно зыркавшего по сторонам мальчишку, потом притянула его, поставила перед собой так, чтобы он мог видеть мраморно-синеватое лицо, и сказала негромко: «Не вертись и попрощайся с дедушкой». Сказала негромко, но некоторые услышали. Она это поняла, прижала к себе сына и чуть угрожающе вскинула голову, по-славянски ладно круглую, но дедовой лепки – с невысоким лбом, тяжелым, нависающим над шеей и плечами затылком и невероятно густыми волосами, чуть по тогдашней моде тронутыми хной. Мальчишка, так и не уверовав в то, что это заставшее в гробу нечто – и есть дедушка, вскоре отвел глаза от лица и с почтительным интересом загляделся на поблескивающий на дальнем от него лацкане пиджака орден Ленина. А женщина стояла все так же напряженно, готовая отразить любое посягательство на их право прощания, но никто не посягал, готовились к выносу, оживленно перешептывались: открепить ли орден и понести его перед гробом или оставить так. Решили оставить, а открепить уже на кладбище...

Поразительно, сколько суеты всегда на похоронах и поминках – какое уж там, к черту, таинство смерти! Говорят, что это помогает близким пережить ужас потери... не знаю... Скорее помогает делать вид, что неутомимый косарь лишь ненароком забрел на наши луга, и не про нас, занятых столь важными заботами – что, например, делать с орденом или сколько пожарить котлет – не про нас его то мерная, то разудалая косьба...

Заговорили, что пора отпевать. Коммунисты вышли во двор, вроде бы покурить, а кантор, неопределенного возраста худощавый человечек, откинул голову, вслушиваясь в затихающий звук камертона, потом сконцентрировал в кадыкастой шее вдохновенную скорбь и затянул, наконец, поминальный кадиш. Но недаром говорят, что нельзя выводить на сцену детей – их естественность губит любые режиссерские задумки.

Мальчишка, изо всех сил приподнимаясь на цыпочках, так заинтересованно тянулся к ордену, что и кантор стал невольно глядеть туда же, словно уже не Богу, а лобастому вождю адресовал экстаз и смирение тысячелетних слов.

Так это все и соединилось: поминальная молитва над атеистом дедом; орден, который он не раз брезгливо именовал бляшкой: коммунисты во дворе, своим отстраненным покуриванием подчеркивающие неучастие в отправлении культа; служитель этого самого культа, вдруг вышедший из наработанного годами образа... а нещадное бакинское солнце выжигало и не могло никак выжечь этот абсурд, эту межеумочность, этот долгий помрак огромной страны.

А под окном плакала Курносенькая. Плакала так же горько, как и во все двенадцать дней дедова угасания. Двенадцать дней... в горячечном жару, на горячечной жаре... стоя у окна его спальни с восхода солнца и до глубокого вечера.

## II

Мать никогда не говорила отцу: «Сегодня пойдем к родителям», но всегда: «Сегодня пойдем на Исковскую» – словно квартира, в которой прошли ее детство и юность, была не родным кровом, а лишь совокупностью квадратных метров в определенном месте города. Однако не только наша семья, не только мамы сестра и брат со своими семьями, но и вся прочая родня, дальняя и сверхдальняя, охотно собиралась именно «на Исковской». Потому ли, что дед и бабушка почти не появлялись вместе, и для того, чтобы повидать их, что называется, разом, требовалось отправиться к ним? Или потому, что бабушка отменно пекла и готовила, а дед, высокомерно презирая условности вроде новой одежды, в отношении этого был скуповат, но легко позволял тратить свою персональную пенсию на хлебосольство? А может, родня, восхищенная интеллектуальным дедовым могуществом, тянулась к нему, как когда-то их предки в тоскливых местечках тянулись к раввину, ребе, чтобы поделиться последними новостями, чаще плохими, и полюбопытствовать, что говорится в Торе, в поучениях светочей еврейства о еще большем озлоблении и без того изрядно злого мира. Но пока ребе любяще трепетными пальцами перелистывает страницы священных книг, можно успеть посудачить о том, о сем... и что почем... и, совсем уже шепотом – кто с кем...

Огромную комнату не делали тесной ни две кровати с массивными металлическими спинками; ни кушетка, каждый бугорок которой я так хорошо ощущал, изредка ночуя на Исковской; ни тяжелое немецкое пианино; ни широченные и высоченные книжные шкафы, до распора заполненные книгами на бог весть скольких языках. Все это комнату не загромождало. Настолько не загромождало, что, когда деда не бывало дома, мы с двоюродным братом без помех носились вокруг огромного обеденного стола.

Черт-те какое количество гостей сбивалось за этим столом по праздникам! Но обычными воскресными вечерами собирались лишь ближайшие родственники, и дед восседал на своем обычном месте, в центре, лицом к прихожей, совсем крохотной, почти тамбуру. Входная дверь запиралась только на ночь – и стоило ее толкнуть после получасового путешествия от нашего дома в Крепости (Старом городе) до Исковской: сначала пешком, потом кружение на лязгающем, порывистом трамвае, потом опять пешком – стоило ее толкнуть, как появлялась привычная картина.

...Комната в полумраке... это оттого, что светит только одна вальяжно-пузатая лампочка под широким желтым абажуром... в центре комнаты световое пятно, а в нем середина необъятного стола... а за столом дед, оторвавшийся на секунду от чтения ради энергичного приветственного возгласа...

Глазам моим, привыкшим к темени плохо освещенных улиц, в первый миг больно видеть этот яркий центр комнаты, центр устойчивости бытия, в котором все

навечно: сверкающий под лампой ежик густых седых волос, уверенно лежащие на столе крупные руки бывшего молотобойца, а между ними – книга, чаще всего какого-нибудь философа... чаще всего на языке оригинала...

Потом глаза приспособливаются, и вот в полумрак прихожей всплывает бабушка – как капельдинерша навстречу припоздавшему зрителю, чтобы сказать негромко «Добрый вечер», и в полутьме комнаты, как полутьме зрительного зала, указать свободное место

...Поставив на огонь керогаза чайник, бабушка выносит из кухоньки, отделенной от прихожей тонкой фанерной перегородкой, блюдо со свежее испеченным чем-то... и зажигает в комнате все бра и торшеры – и появляются другие пятна света: пятно-пианино, пятно-кушетка, пятна-шкафы... Они сплетаются в дружном узоры, но на них глаза уже почти не реагируют, а вот та, первая картина, явившаяся в окружающей тьме, как «Да будет свет!», остается.

И, наверное, из-за нее меня будут впоследствии так завораживать мгновения, когда среди черноты сцены лишь актер освещен лучом прожектора, а его акцентированные жесты, повторенные пульсацией косо падающей тени, словно расставляют в страстном монологе знаки препинания. И о чем бы ни был монолог – он всегда об одном. О кратком миге света, в котором нам, случайно вырвавшимся из вечной тьмы, позволено побыть – и теснятся восклицательные знаки, жалобы на неизбежность ухода; лихорадочные запятые, отделяющие одно усилие вымолить отсрочку от другого; многоточия робкой надежды на то, что уход – не навсегда.

...Дед читал внимательно, но умудрялся при этом улавливать суть общего разговора. Его ничуть не раздражал контраст между очевидно сегодняшними темами воскресных пересудов и тем надмирным, вокруг которого плелись слова в каком-нибудь толстенном томе Гегеля или Спинозы. Более того, изредка отрываясь от чтения, дед вопрошал у моего несловоохотливого отца, единственного из всей родни коммуниста, о чем, к примеру, толкуют решения очередного съезда партии или пленума ЦК. Выслушав краткий, четкий ответ, скептически хмыкал и без малейшего напряжения нырял обратно в густой туман гегелевского текста.

Радио на Исковской не было. Газеты не выписывались. Правда, во второй комнате стоял телевизор «КВН» (так называлась марка). Огромный ящик с непропорционально маленьким экраном, на котором разглядеть что-нибудь, особенно движущееся, было нелегко, и поэтому к ящику пристраивалась большая линза. Этот телевизор для нас, внуков: меня, двух почти взрослых кузин, двоюродного брата младше на год – был главным призом за покорность, с которой мы плелись на Исковскую. Линза давала правильное увеличение лишь для тех, кто смотрел в ее центр, поэтому мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и каюсь, удовольствие прислониться к упругим бокам и ножкам стремительно взрослеющих кузин много перевешивало впечатления от происходящего на экране.

Может, поэтому я и до сих пор не очень увлечен телевидением? Экраны стали невообразимо большими, а вот тесно прижавшихся ножек нет.

Дед, конечно же, мог бы знать все новости, если б смотрел телевизор, но его образу мудреца, лишь изредка снисходящего до суетности мира, это противоречило. Как бы то ни было, новости, обсуждавшиеся за его столом по воскресеньям, были окошком в реальность, которую, презирай, не презирай, но знать все же надо. Изредка мы приносили ему газеты, в которых, как считал отец, было что-то важное, дед проглядывал их (далеко не так внимательно, как Гегеля или Спинозу) и, на зависть будущим советологам, выуживал из междустрочья коммунистических газет точные прогнозы. По крайней мере, на ближайшее будущее.

Мать рассказывала, что на газетные истерики по поводу евреев – критиков и безродных космополитов дед реагировал сравнительно спокойно. Заметно мрачнел во время вакханалий по поводу генетики, кибернетики и языкознания. Но это была

не тревога патриарха за судьбу своего рода. Ему, вырвавшемуся из нищей юности, ставшему доктором химии Римского университета, магистром философии Сорбонны, полиглотом, было невмозможным противно, что судьбы страны и мира вершит плохо говорящий по-русски, стремительно маразмеющий старик, несомненная гениальность которого (по крайней мере, в части виртуозного манипулирования массами) уступила место самодовольному: «Нэ понимаю, значит, уничтожу!»

Но вот когда заголосили о еврейских врачах-убийцах, дед буквально помертвел. И сказал старшей дочери, моей матери: «Пора. Не больше двух чемоданов. Документы. Самое теплое. И самое ценное». И грозно – бабушке: «Все украшения раздай детям. Мы с тобой сдохнем здесь».

Может быть, не мыслил себя без живущей в нескольких кварталах Курносенькой. Или без своих любимых книг. Или просто мечтал умереть героически, с вызовом. Может, видел мысленно, как в незапертую входную дверь вваливаются гэбисты (как когда-то в одесскую квартиру вваливались чекисты), дают час на сборы, а он, оторвавшись от Гегеля или Спинозы, говорит им высокомерно: «Хватит меня гонять. Набегался. Никуда мы не поедем. Стреляйте и будьте прокляты!» И они стреляют, и он уносится к Богу и задает ему давно мучающий вопрос: зачем, давая талант тем, кто вовсе не собирается зарывать его в землю, Он, Всевышний, словно нарочно устраивает так, что талант тонет в грязи, в болоте, в дерьме?

Но случись выселение, все было бы гораздо проще. Зачем, спрашивается, стрелять, а потом объясняться? Вломили бы в ответ на героические слова прикладом по башке, швырнули бы бездыханного в грузовик, а вдогонку, из особой милости или из смеха, зашвырнули бы Гегеля. Или Спинозу. Потом в товарный вагон, строго по списку, чтобы ответственный за выселение евреев из Баку мог бы отчитаться наверх: «Город очищен на сто процентов. Экссесов не было». А потом, недели через две, где-то на Дальнем Востоке ответственный за прием эшелонов вычеркнул бы фамилию деда из списка живых прибывших и внес бы в список умерших по дороге. И доложил бы наверх: «Экссесов не было».

И был бы абсолютно прав, поскольку труп старика – это не экссесс, а естественная убыль. А чей там труп: доктора ли химии Римского университета или просто жидовской морды... да какая, на х..., разница?

### III

В моей памяти дед и Искровская всегда вместе, но почему Искровская – это именно «Искровская», а не какая-нибудь «Предбазарная»? Не потому вовсе, что на ней располагались кузницы, в которых искрилась отбиваемая окалина, не потому, что в многочисленных чайханах близ Шамахинского (Кемерчи) рынка улетали в черное южное небо снопы искр от раздуваемых самоваров; нет, совсем не потому.

В честь большевистской газеты «Искра» была она так названа. И опять же не потому, что здесь жили самые преданные поклонники этого набата революции. Обитатели улицы и по-азербайджански читать толком не умели – где уж им было разбираться в постоянной сваре большевиков со всеми прочими знатоками марксизма.

Просто здесь в начале теперь уже прошлого века где-то между чайханами и хашными, между шашлычными и кебабными втерлась подпольная типография «Нина».

В ней, по версии Лаврентия Павловича Берии, изложившего в знаменитой своей книге историю большевистских организаций Закавказья, печаталась «Искра».

Когда я учился в четвертом классе, нас повезли туда на экскурсию. Небольшая комната с совсем уже небольшим подвалом, в котором едва помещались массивный печатный станок и Валентина Даниловна, наша учительница до пятого класса, нестарая еще, но высохшая в своем одиночестве жрица советского воспитания.

Она спустилась в подвал, заставив нас сгрудиться вокруг люка, который во времена подполья заслонялся от мерзкого ока царской охранки огромным сундуком. Сундук был воистину устрашающ! Теперь он стоял в углу комнаты, был огорожен багровым канатом и мог бы спрятать в своих недрах полкласса или половину Алмазного фонда страны.

Об Алмазном фонде я упомянул не из-за поклонения Мамоне, а потому, что мы с Вовкой, прочитавшие только что «Копи царя Соломона», едва взглянув на сундук, тут же заспорили шепотом, сколько самородков из этих самых копий могло бы в нем поместиться. Мы спорили яростно, с темпераментом толкователей Торы. Мы называли фантастические цифры размещаемых в сундуке каратов, мы упивались самим звучанием слова «карат», мы произносили его, вопреки правописанию, с двумя, тремя, десятью «р» – благо, возможная местечковая картавость была изничтожена у нас нашими родителями в самом раннем детстве. И не беда, что ни Вовка, ни я ни одного алмаза в глаза не видели! Спор – это способ существования активного еврейского ребенка, и чем меньше понятен ему предмет спора, тем более он активен.

Нам с Вовкой мешала только Валентина Даниловна. Чутким своим ухом она иногда улавливала наш страстный шепот и вопрошала из подвала зовом, пронзительным, как неразделенная любовь: «Ученики Берколайко и Зауберман! Вы – опять?!!» Этот экзистенциальный вопрос, звучавший – в прямом смысле слова – из большевистского подполья, заставлял нас временно отвлекаться от сундука и каратов. И слава богу, что заставлял! Ибо одно из отвлечений пришлось на очень интересное место из рассказа Валентины Даниловны: почему подпольная типография называлась «Нина».

– Это давало большевикам возможность, – горячилась Валентина Даниловна, – назначать друг другу конспиративные встречи словами: «Сегодня вечером собираемся у Нины». Вы понимаете, как это сбивало с толку царских жандармов?

Еще бы нам не понять! Слишком много книг «про шпионов» мы прочитали, чтобы не оценить гениальность такой конспиративной находки! В самом деле, если б большевики говорили друг другу: «Сегодня в семь собираемся в подпольной типографии у Шамахинского базара», то даже дурковатые царские жандармы сообразили бы в конце концов, что дело нечисто. А вот заглянуть на вечерок к веселой Нине, знаю, для чего собирающей столько мужиков разом, – тут для дурковатых жандармов ничего странного не было.

...Для чего именно стоит собирать столько мужиков, нам было действительно знакомо, ибо накануне летом нас пристроили в пионерлагерь «Азнефти» под Баку, и там ребята из старшего отряда, обаянные духом просветительства, открыли наши наивные глаза на то, откуда берутся дети. Открытие глаз сопровождалось показом скверно отпечатанных, затрепанных фотокарточек, на которых процесс детопроизводства демонстрировался в широчайшем диапазоне: от лишенных нежности прелюдий до лишенных изящества свальных сцен.

Почему же не штатный экскурсовод, а Валентина Даниловна вещала о типографии, да еще и в столь не привычном для советского педагога состоянии: не сверху вниз, а снизу вверх? Дело в том, что она четыре года назад возила на экскурсию свой предыдущий класс, и ей решительно не понравилось, что экскурсовод, пожилой, одышливый азербайджанец, рассказывая о печатании пламенной «Искры», сам не воспламенялся. Наша нервная жрица за четыре года прочитала кучу книг о типографском деле и так переполнилась информацией, что обойтись формальным: «Ученики и ученицы! Вот печатный станок, вот люк, а вот сундук...» – никак не могла. Повествовать из глубины было ее счастливым дидактическим открытием. Тем паче, что оттуда, из подвала, особенно символично звучало и пушкинское: «Во глубине сибирских руд...», и ответ Одоевского, слова из которого: «Из искры возгорится пламя!» побудили Ленина назвать свою газету столь пожароопасно.

Бедная Валентина Даниловна! Воистину, она не предугадала, как странно отзовутся ее слова в наших с Вовкой чересчур пытливых умах! Но что оставалось делать, если сомнения мучили нас неотвязно? Только искать ответы и находить их!

Самый главный ответ: без реальной, живой и соблазнительной Нины никакой конспирацией и не пахло!

В самом деле, рассуждали мы, такой сундучище не мог стоять на люке пустым или полупустым, ведь любой случайно зашедший жандарм, пнув его, сразу заподозрил бы неладное. Стало быть, сундук был набит под завязку. Перед началом набора «Искры» его следовало сдвинуть. Ну, навалились наборщики, верстальщики и печатники (про все эти профессии нам подробно рассказала жрица), побряхтели... сдвинули. Спустились в подвал, начали набор. А тут – натеньки! – неожиданный визит жандарма... стук в дверь... вопль «Откройте, полиция!» Что делают большевики? Задвывают лампы в подвале – это раз. Выскакивают наружу – два. Закрывают люк – три. Ставят (быстро, не кряхтя и, главное, бесшумно) сундук на место – четыре. Садятся за стол – пять. Открывают дверь – шесть. Входит жандарм и видит: сидят мужики, жрут водку, но руки-то от свинца черным-черны. «Ага, – думает жандарм. – Значит, наборщики, верстальщики и печатники. В одном месте собрались... И долго не открывали... не иначе, что-то печатали!»...

...Стало быть (и это первый наш с Вовкой вывод), кроме типографских рабочих, должны были собираться еще и носильщики, которые переносят сундучище туда-сюда. И должно было их быть немало, человек шесть. Но ведь жандарм может и по-другому подумать: «Ого, сколько носильщиков! Что это они тут носят? Уж не бомбы ли?!» К тому же в подвале полно наборщиков, верстальщиков и печатников, которым душно, которые тяжело дышат...

Второй наш вывод: внимание жандарма должен кто-то отвлекать! Кто? Вот та самая Нина, скорее всего, пухлая блондинка. Как отвлекать? Тут мы посмотрели друг на друга и покраснели. Потому что вспомнили одно и то же. Фотографические карточки.

Третий вывод произнесен не был, но рожден был. Наши длинные языки нашептали его остальным пацанам класса, и вот поздней осенью 55-го года, в помпезном, всегда пустом сквере, расположенном недалеко от школы, перед музеем истории большевистских организаций Азербайджана, ниже постамента высоченной статуи Сталина, состоялась премьера поставленного мною действия: «Большевичка Нина отвлекает внимание царского жандарма».

В качестве сценической площадки был выбран бассейн фонтана, естественно, бездействующего. На одной стороне его борта сгрудились зрители – пацаны из нашего и смежного классов. На диаметрально противоположной стороне, как на сундуке, сидели, болтая ногами, шесть носильщиков. Под их болтающимися ногами лежали пузом на ранцах несколько наборщиков, верстальщиков и печатников. Они пыхтели, изображая тяжелое дыхание запертого в подвале трудового коллектива, и постукивали палочками по днищу фонтана – это был шум печатного станка.

Играющий жандарм Коля Холодов шел рыскающей розыскной походкой от непосредственно фонтана к видимым носильщикам, а также невидимым верстальщикам. Он зловеще поигрывал «эфесом» шашки – толстой палки, заткнутой за ремень, и взволнованные зрители понимали, что эта-то сволочь непременно погубит типографию, а может быть, и все большевистское движение Закавказья. Но навстречу губителю порывисто кинулась Нина – то бишь Вовка, под ученическую куртку которого были впихнуты два детских резиновых мяча нехилого диаметра и почти первозданной упругости. Весь Вовкин вид выражал такую беззаветную готовность к прелюбодетянию, что жандарм, хоть и сволочь, но все же мужик, замедлил шаг.

– Кто такие? – проорал он, указывая на нахохлившихся обитателей насеста-сундука.

– Братаны! – громким фальцетом ответил Вовка.

– Что, все твои?! – не верил жандарм, сравнивая злые многонациональные лица носильщиков с мононациональным Вовкиным лицом.

– Все, как один! – пропищала «Нина», судорожно дергающаяся мячами.

– А что там стучит и дышит?! – совсем уже не веря, спросил Холодов, наполовину обнажая шашку.

В этот кульминационный момент «Нина» использовала извечную женскую уловку, почерпнутую мной из тайком прочитанных романов.

– Ах, это стучит мое сердце! – проверещал Вовка, силой наклонив голову тщедушного Холодова под левый мячик и силой же кладя оторванную от эфеса руку Холодова на тот же мячик. – Послушайте, как оно стучит, и как шумно я дышу!

– Вот сейчас проверю у всех паспорта! – просипел полузадушенный, но заметно помягчевший Холодов.

– Зачем же вам их паспорта? – добила «Нина» его служебное рвение. – Возьмите лучше *мой* паспорт! – и она втокнула свободную правую «грудь» в кисть тоже свободной, но левой жандармской руки. Так они и застыли. И то, что должно было случиться меж ними потом, я не решился бы поставить на сцене даже сейчас...

Но пауза не была томительной, ибо вскоре случился апофеоз. Я взобрался на широкое жерло фонтана и оттуда проорал статуе Сталина и осеннему небу: «Наш скорбный труд не пропадет! Из искры возгорится пламя! И просвещенный наш народ! Сберется под святое знамя!!» Знамени не было, зато заранее предупрежденная часть зрителей закричала «Ура!» и замахала сорванными с груди пионерскими галстуками, изобразив уже вполне просвещенный народ.

Получилось очень красиво. Но все ограничилось премьерой, потому что взбунтовались молчаливые братаны-носильщики. Они предложили, дабы не отдавать пышные груди большевички в лапы царской охранки, жандарма застрелить, причем сразу, без всяких там фиглей-миглей.

– А куда мы денем труп? – вопрошал я.

– В подвал сбросим, – возражали мне. – А наборщики, верстальщики и печатники оттуда вылезут, и мы все вместе пойдем бить других жандармов. Их будут играть пацаны из «4-6».

Конечно, мне тоже хотелось хорошей кучи-малы, но! Но тогда бы получилось, что первое вооруженное восстание пролетариата состоялось не в 1905-м, в великой столице Москве, а гораздо раньше, в пропавшем нефтью Баку. И я отказался и, с точки зрения исторической правды, был совершенно прав.

Но как завидно стало мне много лет спустя, когда прочитал полную исторических неточностей пьесу Петера Вайса «Преследование и убийство Жана Поля Марата, разыгранное обитателями сумасшедшего дома в Шарантоне под руководством маркиза де Сад». Ведь как великолепно могла называться моя постановка: «Великая битва бакинских носильщиков, наборщиков, верстальщиков и печатников с царскими жандармами, сыгранная у подножия десятиметровой статуи товарища Сталина». Скорее всего, она не стала бы классикой, как пьеса Вайса, однако согласитесь, по крайней мере, что подножие статуи товарища Сталина куда величественней какой-то там парижской психушки!

...Но шутки шутками, а счастье наше, что все эти кривляния не увидел никто из взрослых, а небитые пацаны из «4-6» помалкивали. Конечно, уже 55-й год, уже больше выпускали, чем сажали, но...

Это позже, это потом стали говорить почти в полный голос, что никакая «Искра» в Баку не печаталась, что весь тираж ввозили в Россию под своими широкими юбками дамы-большевички, что вообще никакой типографии не было, что все это напридумывал Берия, дабы возвеличить роль жившего в начале века на бакинских нефтепромыслах Сталина, а такое название для типографии батоно Лаврентий придумал в честь жены...



Однако детей на экскурсии возили до конца 80-х, а улица так и оставалась – «Искровской».

## IV

В своем родном местечке дед окончил без особых успехов хедер, начальную религиозную школу. Отец его, мой прадед, умер рано, семья нищенствовала, и даже бар-мицву деду справляли какие-то родственники. Бог знает, кому из них пришла в голову мысль отдать невысокого, щуплого мальчишку в подручные к сельскому кузнецу: бог знает, почему кузнец взялся учить этого доходягу нелегкому своему ремеслу. Наверное, и на кузнеца деньги с неба не сыпались, село было бедным, и выбирать подмастерьев было почти не из кого. Брал, что подворачивалось; подвернулся тощий жиденок, ну и ладно – загнется, так Христос не заплачет.

Однако ж звезды на дедовом небосклоне располагались, как надо. И то, что в хедере учился без блеска, тоже оказалось на руку: ну, схватывал бы на лету куски из Танаха, ну, восхитил бы с десяток сутулых талмудистов, и воспитали бы они его таким, какими были сами – получахоточным, с отрешенным взглядом нежилыца. А так физический труд, грубая пища в доме хохла-кузнеца (сало дед трескал за милую душу до самой смерти) сотворили чудо. И хоть росту прибавилось немного, но широченные плечи, но сильные руки! И это так выделяло его среди сверстников, местечковой затхлостью обреченных на физическую немощь, что жизнь представлялась ему не иначе, как череда решений всему вопреки и действий всему наперекор. Из такого материала извечно близорукая российская власть пачками производила своих могильщиков, но бредни о всеобщем равенстве деда никогда не увлекали. Не чувствовал он, полуграмотный крепыш, себе равными ни соплеменников своих, задавленных двумя тысячелетиями гонений и погромов, ни крестьян-соседей, готовых удавить за копейку и удавиться за рубль.

Был он, Герш Аврутин, и был мир. Немилосердный, грубо, Богом ли, дьяволом ли сработанный, но мир, которому надо было доказать, что Герш Аврутин – есть! И извольте считаться!

Скопив немного денег, он в 18 лет уехал в Херсон. Там, изредка подрабатывая грузчиком в гавани, изредка нанимая репетиторов, за четыре года сдал экстерном полный курс классической гимназии. И не просто сдал, а получил золотую медаль.

Непостижимо! Латынь, греческий, французский, немецкий; только языков – четыре! А ведь для него тогда и русский-то был почти иностранным!

...Есть два великих романа: «Красное и черное» и «Мартин Иден». Оба о людях, к которым мир был враждебен изначально. Жюльен Сорель ввинчивался, вкручивался в этот мир. Мартин Иден – вламывался. Оба закончили крахом. Но каким величественным крахом, какие изумительные страницы им посвящены! И когда читаю, как неграмотный моряк за считанные годы сделал себя ярким писателем и философом, вспоминаю деда.

Можно ли сказать, что его жизнь закончилась крахом? Внешне все так. Дважды был взбесившимся быдлом разорен и начинал с нуля. Над его аналитическими записками об использовании дикорастущего граната, покрывавшего невысокие склоны гор, в Госплане Азербайджана смеялись (подруга матери, работавшая в том самом Госплане, сказала ей как-то: «Попроси отца не посылать нам больше эти записки, над ними все смеются»). Умирая, мечтал, как о райском блаженстве, о возможности принять ванну. Ни в ком из детей своих не видел проблесков собственных громадных способностей, собственной бешеной витальности. Все это смотрится крахом. Но сам он вовсе не выглядел потерпевшим поражение...

После получения золотой гимназической медали дед недолго размышлял: а что дальше? Пробиваться в российские университеты с их процентной нормой для евреев

значило вкручиваться в мир, а дед хотел вломиться. Потому уговорил дальнего богатого родственника одолжить ему немного денег, выправил заграничный паспорт и махнул в Рим. Почему в Рим? А потому, что Италия в начале прошлого века развивалась стремительнее и интереснее всех прочих в Европе. Те самые итальянцы, которых воспринимали не иначе, как теноров, художников, карбонариев и романтических любовников, оказались вдруг прекрасными математиками, физиками, инженерами; людьми едкого, практичного ума и редкостного трудолюбия. Им не надо было, подобно французам, соответствовать своей блестящей истории или, подобно немцам, – соответствовать великому духовному наследию. Им просто нужен был успех.

Во всем.

Равно, как и деду.

В Римском университете работала хорошая школа пищевой химии, и дед отправился именно туда. Видимо, после голодного детства и грубых харчей кузнеца само сочетание «пищевая химия» казалось пропуском в другую жизнь, тараном, который пробьет стены отгородившегося большого и кипучего мира, любящего вкусно поесть и увлекавшегося консервированием.

Герш Аврутин записался на первый курс Римского университета в 1906 году. Одолженные деньги быстро таяли, но ему ли было унывать! Через полгода он уже знал итальянский настолько, что начал давать уроки приезжающим из России и Германии студентам и стажерам. А еще подрабатывал гидом. А еще, сделавшись страстным меломаном, посещал оперные театры. Дневным поездом в Венецию или в Неаполь, или в Милан, три часа наслаждения любимыми Верди, Россини, Леонкавалло; потом ночным поездом обратно в Рим – и опять библиотека, лаборатории, репетиторство. Брешь в стене мира увеличивалась: полный курс университета – досрочно, магистерская диссертация, она же в Риме и докторская – досрочно. И вот через пять лет – красивый диплом в виде свитка плотной гербовой бумаги, а на бумаге затейливой каллиграфией, да на латыни: доктор химии Григорий Аврутин (долой Герша; Гершем он уехал из России – и не для того, чтобы Гершем оставаться!).

Зачем же он вернулся? Два университета Италии предлагали ему позиции на химических факультетах, в том числе и родной. Римский. А ведь он любил Рим! Как часто я заставал его листающим тяжелый альбом с видами Рима, и понятно было, что, вглядываясь в ему только приметные детали, он опять гулял по этой набережной Тибра, по этой площади, в этом проулке... И вернуться, чтобы закончить жизнь на Искровской, в нелепой, огромной, бивачного вида квартире, в которой не то, что ванной или туалета – кухни толковой не было! А ведь в Италии лет через десять он наверняка бы стал постоянным профессором, европейски известным ученым. И что там пищевая химия! Он мог бы заняться органической и поучаствовать в воцарении полимерных материалов; он мог бы заняться радиоактивными веществами и – кто знает? – работать с легендарным Энрико Ферми сначала в Италии, потом в Штатах...

Но что толку в этих «бы»! – он вернулся в Россию, и причиной тому были два человека.

Моя бабушка... Она была, бесспорно, красива чеканной, библейской красотой и появилась в жизни деда вполне закономерно, в соответствии с тем, что любое воспарение, любой полет, какими бы свободными они ни были, незаметно глазу, неподвластно анализу и не тревожно для интуиции порождают путы, сводящие всю эту свободу на нет. Счастье, когда есть ясный выбор «или – или»: молодость и Гретхен в обмен на сущий пустячок – в загробной жизни будешь рабом Сатаны... или не соглашайся, друг Фауст, дряхлей дальше и умри, понимая, что не жил...

А если никаких «или – или», а, скажем, так: конечно, Гершеле, дорогой мой родственник, наслышан о твоих успехах, горжусь тобой; конечно, деньги в долг дам... а, кстати, познакомься, моя дочь Голда. Как чувствовал, когда давал ей имя Голда – золотая, – посмотри, какая выросла красавица, золотце мое, услада моего сердца. И

мимолетный вежливый кивок, мимолетный взгляд больших, чуть сонных глаз... а Герш чуть зубами не скрежещет от нетерпения, спасибо за деньги, но отпусти же поскорее, старый болтун, какое мне дело до улады твоего сердца, когда мое собственное шарахает в грудь, как сбивающий окалину молот: «В Италию, в Рим! В Италию, в Рим!» И невдомек, что в комнате есть еще одно, третье сердце, а оно так сжалось при виде этих широких плеч, этой тяжелой кисти, радостно и намертво вцепившейся в пачку сулящих через две-три недели Колизей, Тибр и свободу. И невдомек, что в самой глубине вроде бы едва скользнувших по нему чуть сонных глаз была мысль: «Мой!» И через год пришло письмо: дорогой родственник, твой похвальный пример так увлек уладу моего сердца, что она тоже решила изучать химию, и тоже в Римском университете. Ты уж встреть Голдочку, помоги ей с обустройством, а я тебе прощу треть долга.

И вот между лабораториями и репетиторством, библиотекой и бельканто урывается часок, а потом и другой – и красивые, чуть сонные глаза начинают странно волновать, внушая, что, кроме сумасшедшего крещендо вечного штурма, есть еще и тихая музыка покоя; и случайная фраза вдруг начинает значить больше мудрости толстенных томов, потому что завораживает то, как она сказана. Как дрогнул голос, взмахнули ресницы, завибрировал застывший воздух в маленькой комнатке... Завибрировал и опять застыл, тихонько посмеиваясь над суматохой Вечного города...

А еще был маленький вертлявый бесенок, то ли грек итальянского происхождения, то ли итальянец – греческого. Разбогатев на поставках в Россию лимонной кислоты, он задумал наладить ее производство где-нибудь на юге империи, на каком-нибудь местном сырье. Ну, а где всего вольготнее такому вот предприимчивому греко-итальянцу? Разумеется, в Одессе. Он искал в Риме кого-нибудь, кто разработал бы технологию. Быстро нашел деда. Тот разработал. Это, собственно, и стало сердцевиной его докторской диссертации, а греко-итальянец купил оптом и технологию, и деда со всеми его грандиозными планами.

Григорий Аврутин радостно и свободно парил навстречу своей грядущей несвободе, но выговорил себе еще год. За этот год Голда, фактически уже жена, настойчиво убеждавшая, что жить надо в России, тоже станет с его помощью доктором химии, а сам он... Сам он, умудрившись во время работы еще и сдавать курсы на философском факультете, решил часть полученных за технологию денег потратить на изучение философии в Сорбонне.

Зачем ему нужна была философия, могу только гадать.

То ли он закрывал счета по своим прежним детским обидам – ведь в религиозной школе его считали посредственностью.

То ли почитаемый им Бенедикт Спиноза (а именно ему была посвящена магистерская диссертация в Сорбонне) своей судьбой прочерчивал пунктиры его собственной судьбы: мальчик Барух из небогатой еврейской семьи стал Бенедиктом и выдающимся философом.

То ли какими-то проблесками интуиции дед прозревал свое будущее «вавилонское пленение» и хотел напоследок насладиться свободой в самом свободоловливом университете Европы...

Как бы то ни было, летом 1912 года доктор химии, магистр философии Григорий Яковлевич Аврутин с женой своей Голдой, ныне Ольгой Соломоновной, приехал в Одессу. Там через год родилась моя мать.

И был сделан первый шаг к тому, чтобы потом появились на свет моя сестра и я, наши дети, их будущие дети...

И был сделан Григорием Аврутиным тот последний шаг, после которого мир, уже почти его впусивший, с грохотом отгородился тяжелыми воротами.

И не помогли монетки, брошенные перед отъездом во все римские фонтаны, и замаячила впереди никакими волнами интуиции не прочувствованная Искровская...

## V

В то же примерно время, когда Григорий Аврутин почти триумфально вернулся на землю Российской империи, в другом ее конце, в другой части необъятной черты оседлости, другой мой дед мерным шагом, без прорывов и перерывов, взбирался на вершину своей жизни.

Происходил он из семьи цадика – хасидского праведника, блаженного, человека «не от мира сего». Цадики не работали (община давала им скромное содержание), они молились, искали во всем следы Провидения и постоянно пребывали в некрикливой, радостной экзальтации. Радовались, что Всевышний, хоть и редко, но вспоминает о народе Своем, что птички радостно поют, что радостный снег искрится на солнце, а безрадостный дождь когда-нибудь прекратится. Только вот у многочисленных детей поводов для радости было сильно меньше. Надо было работать, не считывая на милость общины и Провидения, и четырнадцать лет отроду дед устроился подростком на побегушках в местную контору петербургского купца первой гильдии Хаима Левина. Среди многих дел этого еврейского магната одним из самых крупных и прибыльных были лесоторговля и лесопереработка, а в Мозыре, маленьком белорусском городке, но с крупными по тем временам железнодорожной станцией и портом на реке Припять, располагался, как сейчас бы сказали, головной офис этого бизнес-дивизиона.

У другого моего деда не было никаких медалей, никаких мечтаний о сверкающих заморьях – только работа, только неукоснительное исполнение обязанностей, только тщание в соблюдении хозяйских интересов. Рассылный, младший бухгалтер, бухгалтер, торговый агент, старший бухгалтер, товарищ управляющего, управляющий, – воистину, помикронное вкручивание в мир! И какая основательность, какая спокойная уверенность в том, что труд, много труда, еще больше труда – и придет успех, много успеха, еще больше успеха!

... Пора заводить семью? Нет, позже. А если вдруг любовь? Помилуйте, что значит «вдруг»? Жениться, заботиться о жене и детях – долг всякого порядочного человека. Это положено делать, значит, в свое время будет сделано. И в один из приездов Левина в Мозырь, году где-то в 1902-1903, бухгалтер Марк Залманович Берколайко, дельный работник, уже замеченный зорким хозяйским глазом, в ответ на шуточки о его затянувшемся безбрачии скромно сказал, что стоит на ногах уже достаточно крепко и ежели какой-нибудь уважаемый человек отрекомендует ему хорошую невесту, то... И вскоре деду шепнули, что в петербургских хоромах реб Хаима подросла его воспитанница, бедная родственница... и гимназию окончила... в общем, сделайте выводы. Дед с достоинством «self-made man» ответил, что почитет за счастье, но при двух неперемennых условиях: приданое девушке должно быть очень скромным, как если бы ее выдавали небогатые родители, а ему самому в дальнейшем – никаких поблажек по службе.

Думаю, дед не лукавил, ему и вправду хотелось лишь трудом и умом заработанных благ, он и вправду хотел верить, что воздаяние – всегда по заслугам. Потому и не было никаких поспешных продвижений ни после женитьбы, ни в результате ее, хотя не исключено, что Хаим Левин запомнил и оценил столь необычные требования.

Все шло своим чередом: карьера, достаток, в 1905 году родился старший сын, Натан; в 1911-м – второй сын, мой отец. А в сентябре 1916-го дед получил генеральную доверенность на ведение всех дел Левина по лесоторговле и лесопереработке и на распоряжение связанным с этим имуществом.

То было воистину торжеством мировоззрения самоучки-бухгалтера! Год он управлял огромным хозяйством Левина в Белоруссии. Целый год. Всего только год.

А потом все рухнуло. Через Мозырь прокатывались то немцы, то поляки; то красные, то белые, а чаще просто бандиты без цвета, но со стойкой сивушной вонью

из щербатых ртов. Забушевали погромы, и привыкшая к комфорту семья привыкла сутками отсиживаться в подвалах, а потом посылать на разведку младшего сына, беленького и круглоголового. Он бродил по улицам, прислушиваясь к пьяным выкрикам и определяя, пошла ли на убыль погромная ярость очередной банды или очередной дивизии дорвавшихся до свободы поляков, или очередной бригады Красной Армии. С ним вступали в жалостные беседы («Наш хлопчик!»), поглаживали по голове, давали хлеба и сала.

Всю жизнь потом мой отец удивительно ладно беседовал с пьяными и терпеть не мог, когда его пытались погладить по голове.

...То, что погромами брезговали немцы, понятно: еще не были разработаны безотходные технологии Аушвица, а вспарывать жидовские перины и животы штыками отменной золлингенской стали – ну что за свинство, право!

То, что погромами не гнушались поляки, тоже понятно: вырвавшемуся наружу шляхетскому гонору сладок был ужас «тварей дрожащих».

Но красные?! Ведь во многих частях Красной Армии комиссарили евреи, и так увлеченно распинались они о пролетарском интернационализме! Что же, не слышны им были вопли гонимых соплеменников? Или слышны, но в расчет не принимались? Мол, побалуется трудовой народ напоследок, перед окончательной своей победой, но вот уже засучит рукава и взметнет к небесам новую вавилонскую башню всемирного братства, а прорабами на этой стройке будут они...

И метался по фронтам неутомимый Лев, организуя разгром отборных белых дивизий, и проектировал контуры будущей Республики Земного Шара, но в самых горячечных своих снах, в самом жутком бреду, навеянном спиртом и кокаином, не видел он, что руководить строительством будет совсем другой Прораб, предусмотрительно проломивший башку проектировщика.

И поделом же им всем, ибо нет среди них невиновных! И Прорабу все поделом: и брезгливая нелюбовь собственной матери, и ненависть любимой жены, и исковерканные ничтожества-дети, и те часы, когда мычал он, обделавшийся и беспомощный, валяясь на полу своей тайной спальни!

Еще только раз дед, в честь которого я назван Марком, попытался подняться. Было это во времена НЭПа. Он тогда переехал в Ленинград и там сумел развернуть что-то связанное с деревообработкой. Но в конце 20-х НЭП прихлопнули, деда разорили, и он уехал с женой и младшим сыном сначала в Кисловодск, а потом и еще дальше – в Баку. Там и умер в середине тридцатых, надломленный крахами и ранним уходом старшего сына, Натана.

А тот удался в того самого цадика и в свою мать, мою бабушку: добрый, порывистый, радостный, чуть экзальтированный. И все надежды дед Марк перенес на наследника «титула и состояния», как смешливо именовал себя Натан в письмах из-за границы. Ему хватило таланта с блеском отучиться в Брюссельском университете и защитить там докторскую диссертацию опять же по химии (какие причудливые совпадения в жизни двух совсем разных семей, сошедшихся волею революций в пыльном Баку, где уже позже познакомились и поженились мои родители!) И обаяния Натану хватило, чтобы влюбить в себя внучку крупного бельгийского банкира, но вот банального житейского ума, чтобы остаться с нею в Брюсселе, не хватило. Мало того, что сам вернулся в Ленинград, так вдобавок, вступив в бельгийскую компартию, умудрился обратиться невесту в свою радостную коммунистическую веру. И она, хорошенькая «декабристочка», четыре года сидела на чемоданах, ожидая, когда наконец разрешат ей упорхнуть из буржуазной неволи к любимому, в его на диво свободную страну. Но ее, к счастью, судьба охранила, все свои молнии направив на Натана. Вернувшийся доктор химии отслужил рядовым красноармейцем – равенство, так равенство! – потом еще два года добивался разрешения на приезд в Ленинград невесты, внучки банкира... а потом имел обстоятельную беседу в Большом Доме на

Литейном, про который обычно не очень веселые ленинградцы сочинили очень веселый анекдот: «Товарищ, не знаете случайно, где находится Госстрах? – Нет, где Госстрах, не знаю, а вот Госужас – на Литейном».

После беседы Натан изготовил в своей лаборатории какой-то сильный яд... и ушел.

Дед Марк умер задолго до моего рождения в той самой квартире, где я потом прожил все 22 года своего пребывания в Баку. Там же умерла и бабушка. Их портреты висели в большой комнате, и дед всегда смотрел на меня сурово, словно наставлял: «Делай хорошо уроки – и воздастся!» А бабушка смотрела ласково, с той печалью в больших, добрых глазах, которая поселилась в них, наверное, когда прозвенел вокзальный колокол, и поезд повез ее из Петербурга в маленький, невидный Мозырь, в долгую жизнь с честным, немногословным и нелюбимым бухгалтером...

Квартира располагалась в Крепости, Внутреннем городе, Ичери Шехэр, неподалеку от знаменитого Дворца ширваншахов. Ни нормальной кухни, ни, разумеется, ванной, ни, конечно же, туалета (ох, умели ценить комфорт мои деды!), но зато из окон большой комнаты и насквозь продуваемой веранды была ясно – рукой подать! – видна великолепная бакинская бухта.

И улица называлась не какой-то там «Искровской», а горделиво – Тверской.

Так что часто удивлял я в молодости знакомых москвичек, роняя небрежно: «А я вот вырос на Тверской!»

## VI

Итак, Григорий Аврутин, дед мой по матери, прибыл в Одессу. Хочется думать, что прибыл морем. Триумфаторам пристало неспешно и торжественно спускаться по трапу, с борта так же торжественно вошедшего в порт белого парохода.

Прибыл, дабы вступить в совладение первым в Империи заводом по производству лимонной кислоты. Официальная тогдашняя его должность, главный инженер, теперь более соответствовала бы названию «директор по производству», ибо отвечал он и за технологию, и за ритмичность работы, и бог еще весть за что. Греко-итальянец занимался поставками сырья и подсчетом выручки, которая росла так стремительно, что радостного потирания рук явно не хватало, да и восторженного хлопанья по собственным ляжкам – тоже. Адекватной реакцией на такое крещендо ежемесячного сальдо могла быть только жаркая помень сиртаки с тарантеллой.

Хотя дед владел лишь малой долей этого вкусного пирога, она, доля, выливалась не только в фантастический для недавнего бедного ученого оклад, причем в золотых рублях, самой твердой в тогдашнем деловом мире валюте, но и в предоставленный заводом элегантный выезд, и в четырехкомнатную квартиру недалеко от морского вокзала, и (этой льготой дед особенно гордился) в абонируемую на весь сезон ложу-бельэтаж в оперном театре.

В феврале 13-го родилась моя мать. Ее назвали нееврейским именем Матильда – дед тогда еще ощущал себя прежде всего европейцем, да и любил очень арию из «Иоланты»: «Кто мо-о-ожет сравниться с Матильдой моей?!» Но родившуюся в 16-м вторую дочь назвали по настоянию более приземленной бабушки уже вполне традиционно: Шевой. А в лихом 19-м родился и долгожданный мальчик, Соломон.

Одессу во время гражданской войны неоднократно брали то белые, то красные, но погромов в исторически многонациональном городе не было, к стенке ставили исключительно из классовой ненависти. Греко-итальянец сбежал, завод не работал, дед жил тем, что умудрялся прямо во дворе своего буржуазного дома варить из всякой всячины едкое хозяйственное мыло, всегдашний дефицит во времена войн и смуты. Вариво разливалось по ящикам письменного стола; позже, наряду с книжными шкафами, звучным немецким пианино и необъятным обеденным столом, он пе-

ревеzen был в Баку, но стоял в задней комнате, ибо был весьма, после трехлетнего участия в мыловарении, обшарпан.

Когда мыло застывало, дед нарезал его на бруски и обменивал на еду и одежду. Поскольку топливо для мыловаренных котлов он заготавливал сам, то руки его от этого «производства полного цикла» замозолились и задубели, что однажды спасло его во время нежданного визита чекистов. В квартирах престижного дома те набирали «буржуев» для очередной партии заложников, многих соседей взяли, но дед настаивал на своем пролетарском происхождении. Тогда старший группы, матрос, полупьяный от самогона и донельзя счастливый от ниспосланной ему роли высшего судии, велел: «Покажи руки!» Увидев мозолистые крупные кисти бывшего молотобойца, вынес вердикт: «Таких мозолей у буржуев не бывает!» С тем и удалились соратники аскетичного Феликса, прихватив, правда, все мыло и почти все съестное. Может, реквизировали для нужд революции, но расписку не оставили.

А когда НЭП стал набирать обороты, деда позвал в Баку бывший управляющий кавказским отделением знаменитой чайной фирмы Высоцкого Мирон Гинзбург, муж бабушкиной младшей сестры Этель, Эти. Неправдоподобно красивая была пара: дядя Миня – высокий, с портретно благородным, породистым лицом (недаром Гинзбурги издавна принадлежали к еврейской аристократии, вспомните, например, светского льва Галича), и тетя Этя, хрупкая, очень живая, улыбавшаяся так, что меня словно окутывало теплотой и любовью... На чайные плантации Высоцкого в Грузии и Азербайджане большевики наложили лапу тяжело и прочно, и оставшемуся не у дел, небедному дяде Мине хотелось заняться чем-нибудь неброским, невидным и нешумным. Он решил производить повидло; на паех с дедом купил какой-то полудохлый заводик на тогдашней окраине Баку, неподалеку от Искровской, и дело пошло. Рассказывали, что повидло было вкусным необыкновенно, что дед научился делать не только традиционно яблочное, но и айвовое, инжирное, терновое. Но душа его рвалась к тому, одесскому заводу. Тот, кстати, довольно быстро возродился, то ли встраиваясь в индустриализацию, то ли в руках какого-нибудь временно удачливого нэпмана. Но скорее все же первое, потому что в постоянно готовящейся к войне стране лимонная кислота стала почти стратегическим продуктом. Она была незаменимым консервантом, и ее требовалось все больше.

Дед разработал технологию выделения кислоты не из импортируемых цитрусовых, а из кожуры и косточек граната. В ход мог пойти даже дикорастущий азербайджанский гранат, который на склонах гор рос в изобилии. Но внедрить технологию не успел, в конце двадцатых завод у компаньонов отобрали. Слава богу, что самих не шлепнули. Впрочем, интеллигенция и предприимчивые люди от репрессий в Баку страдали, в общем, не сильно, зато коммунистов, особенно тех, кто имел несчастье помнить пролетарскую среду начала века, но с трудом вспоминал, что Сталин был, оказывается, героем номер один в мировом революционном движении, – тех стреляли пачками. Мир-Джафар Багиров, первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, давнишний друг Берии, гордился тем, что всегда перевыполнял планы по чистке, спускаемые из Москвы, а уж планы-то и сталинский карлик Ежов, и батона Лаврентий спускали напряженные. Мир-Джафар прозван был в Баку «Четырехглазым», ибо носил всегда очки; до бериевского пенсне чином не дорос, но в очках, говорят, даже спал. В 54-м году, на закрытом суде в Баку как бы вдруг заговорили о том, что дружба Четырехглазого с Лаврентием началась с совместной честной службы агентами внедрения то ли царской охраны, то ли английской разведки. И поговаривали, будто были у этой парочки особые причины на то, чтобы пускать в расход именно старых большевиков, слишком памятливых и не могущих взять в толк, почему кристально чистые ленинцы на задворках, а сомнительные личности – на тронах.

Дед после того, как завод отобрали, работал в каком-то скучном учреждении и писал аналитические записки в Госплан. О том, что потребность в лимонной кис-

лоте будет только расти. Что лимонная кислота, выделенная из граната, много дешевле всякой иной. Что качество ее можно сделать лучшим в мире, и что он знает, как этого добиться. Но в Госплане заняты были пятилетками, нефтью, бензином, соляной кислотой, в крайнем случае, хлопком и спиртом. И на хрена ж им было думать о какой-то там лимонной кислоте, если Москва такой задачи не ставила?

Москва спохватилась в начале войны, когда была потеряна Одесса. Лично Багирову было поручено увеличить производство на бакинском заводе в три раза. Из чего производить, ведь сырья-то не стало? – да хоть из говна, хоть из золота. Срок – полгода. Четырехглазый пообещал лично расстрелять половину республиканского правительства, если за четыре месяца производство не возрастет в четыре раза, а когда Мир-Джафар обещал расстрелять, да еще лично, верили ему безоговорочно. Из говна, которое товарищ Багиров рекомендовал в качестве сырья, лимонную кислоту не выделить – министерские это хорошо понимали, однако любая рекомендация республиканского вождя побуждала к напряженному ассоциативному мышлению: говно-помойка-отходы – и тут они вспомнили об аналитических записках, над которыми, судя по словам подружки моей матери, так славно потешались.

Деда разыскали и привезли к Багирову.

– Из чего будешь делать? – рыкнул Четырехглазый.

– Из отходов садового и плодов дикорастущего граната.

– Во сколько раз увеличишь производство?

– В пять.

– Смотри, если что, пристрелю лично! Если сделаешь – не забуду!

Разговор происходил ранней осенью сорок первого. А весной сорок второго деда – в салон-вагоне Багирова! – отвезли в Москву, где вручили орден Ленина. Но что орден? Орден – ерунда, бляшка. Главное, он опять работал, опять занимался химией, он опять придумывал кучу рецептов!

В сорок шестом его отправили на пенсию, правда, персональную. Под величайшим секретом сообщили, что о нем вспомнил лично товарищ Багиров. Еще раз похвалил, но потом заметил, что этому хорошему химику полностью доверять нельзя: ведь если он из какого-то говна смог выделить полезный продукт, то кто ему помешает из какого-нибудь другого говна выделить яд?!

Курносенькую дед встретил в начале двадцатых на своем заводе. Она была простой работницей, лет ей было не больше восемнадцати, сбежала она с матерью в Баку из вечно голодающего Поволжья, откуда-то, кажется, из окрестностей Саратова. И стала тайной женой моего деда, полюбив его сразу и безоговорочно; и молилась на него, как на Вседержителя; только Богу шептала она по утрам слова непонятные, заученные в детстве, а умному, зрелому, крепкому своему мужчине – слова простые, которые учить не надо. Не знаю, чем она так тронула дедово сердце, своей ли этой безоглядной, всегда почтительной любовью, а может, я к ней несправедлив, может, была она мила той особой русской милотой, которая нежданно-негаданно вдруг вспыхивает в любой глуши...

Связь их стала известна и бабушке, и всему бакинскому еврейскому бомонду лет через пять, когда Курносенькая с перерывом в два года родила деду двух детей: девочку и мальчика. Опять же не знаю, может, дед и отговаривал ее рожать, чадолюбив он, по-моему, не был; во всяком случае, с нами, официальными, так сказать, внуками и внучками, никогда не сюсюкал и сблизиться не стремился. Но как бы то ни было, детей Курносенькой дед признал, так что все его пять детей были Аврутины.

Бабушка все рассказала дочерям. Те отца осуждали. Втайне, конечно, – не из тех он был, кого можно осуждать явно. В глазах еврейских семей дед свой интеллектуальный авторитет не потерял. Напротив, пренебрегая условностями, утвердил его еще более, а вот бабушка выглядела страдальницей, и подозреваю, что находила в этом горькое удовлетворение. Это давало ей возможность поквитаться с дедом за



те римские времена, когда она упорно, пуская в ход извечные женские хитрости, завоевывала его, а он не спешил пасть побежденным, исчезая то на несколько дней послушать в Милане что-нибудь великое в Ла Скала, то на несколько недель в Париж, дабы погрузиться там в изучение Спинозы. Он и теперь отгораживался от ее упреков либо заводскими заботами, либо, уже на пенсии, чтением Гегеля или все того же – будь он проклят! – Спинозы. Но все же, все же! Теперь можно было нападать, можно было наносить удары в любую минуту, например, неся ему из кухоньки чай с мелко наколотым рафинадом, можно было спрашивать: «А она тебе тоже чай каждый час заваривает?» На что он, не отрываясь от книги, отвечал из явно оборонительной позиции вынужденно нейтральным: «Ты мне мешаешь читать!» «И развлекаться!» – со слезой в голосе подхватывала бабушка и удалялась на кухню, чтобы повсхлипывать достаточно громко.

Тем не менее, каждым будним вечером он исчезал на несколько часов, дети Курносенькой радовались ему, как возвращающемуся с работы отцу, а внуки – как навещающему их любимому деду..

Нас он никогда не навещал. Ни когда мы болели, ни когда родители шумно отмечали наши дни рождения. Приходила на них только бабушка.

Один только его приход к нам, на Тверскую, я помню. В нашей квартире появилась тогда удивительно милая, ладная кошечка, Дымка, и дед вдруг совершил чудо – он пришел как-то в воскресенье днем, часа полтора играл с ней, потом зашел и исчез, даже не выпив чаю.

Но как он играл с Дымкой! Молодая дурында с восторгом гонялась за веревочкой, которую он возил по полу, азартно кидалась на его приближающуюся руку, отбегала и прятала голову за выступ порожка, полагая себя невидимой. А дед хохотал, как ребенок, и единственный раз в жизни я слышал, как он умеет вздох смеяться.

Может быть, сама лишенная детства, Курносенькая распознала, как ему, умному, зрелому, крепкому ее мужчине, надоедает быть умным и зрелым, как мечтает он просто похихотать. Может быть, она умела заставить его забывать о тяжелой кузнечной работе, об адском напряжении херсонского учения, о необходимости влываться в мир, завоевывать его раз за разом... и оказываться раз за разом на руинах... и искать забвения в мыслях великих философов, в рвущих сердце сладких мелодиях. Может, и отдаваться ему она умела то легко и радостно, то чуть испуганно, дабы почувствовал он себя вечно молодым фавном, догнавшим легконогую нимфу. Может, и детей онаставляла не рассказывать ему о школьных трудностях, о том, как хочется есть, о синяках и обидах, а играть с ним, дурачиться, беситься. Чтобы каждый вечер обретал он в ее нищей квартирке, в двух шагах от навсегда утерянного завода, просто детство, просто юность, просто молодость и беззаботность, которых никогда до этого у него не было. И которые вдруг появились, когда пора уже спускаться с горы навстречу туману небытия.

А может, шел он к ней наперекор миру, наперекор тому, что подумают и что скажут. И спешил каждый вечер, чтобы убедиться, что хоть здесь нет руин: нет и не будет. И уходил успокоенный, но потом опять спешил, чтобы опять убедиться.

Но это я сейчас домысливаю, фантазирую, гадаю – а тогда о существовании Курносенькой даже не подозревал. Хотя... если вспомнить один мартовский день 57-го года...

## VII

Дни весенних каникул чертовски хороши, если, конечно, не свалила вдруг ангина, или мать, обеспокоенная возможной четверкой по русскому, не заставляет писать диктанты под какую-нибудь нудятину вроде «Записок охотника».

Зимние каникулы хуже. Что с того, что елка, подарки? Все это быстро приеда-

ется, и с каждым днем неотвратно близится бесконечная третья четверть. То ли дело – весенние! После них сразу же «первый апрель, никому не верь»... верь только, что всего через месяц веселая демонстрация, и мой день рождения не за горами, и ничего нового не проходим, а значит, еще чуть-чуть, и «темницы рухнут».

И потому трижды ура весенним каникулам, особенно, если родителями решено (дабы не болтался без присмотра) каждый день отправлять меня на Исковскую, и можно, выходя пораньше, сэкономить за неделю приличную сумму «трамвайных» копеек, и бабушка каждый день печет что-нибудь вкусненькое, а дед согласен позаниматься со мной французским.

Английский, который уже почти год изучается в школе, – это язвительная, занудная училка, помешанная на оксфордском произношении дифтонга «th», а как эту несуразность можно хорошо произнести, когда язык должен прижаться к верхним зубам, а те еще толком не выровнялись?

Но французский – совсем другое дело! Это «Три мушкетера», это тайком поглощаемый Мопассан, это «Война и мир» с самыми первыми словами: «Eh bien, mon prince...» – и дальше все, кроме лакеев, шпарят по-французски, а ты вынужден смотреть перевод внизу страницы и чувствовать себя тем самым лакеем, навсегда отлученным от высокого стиля салонной беседы.

Итак, дед согласился, мать купила учебник для пятого класса, а я, забегая в мечтах года на три-четыре вперед, мысленно грассировал, как истый парижанин, ведя игривый разговор с Николь Курсель.

Кто это?! А фильм «Колдунья» по мотивам купринской «Олеси», а совсем еще юная Марина Влади в главной роли, а эти ее длинные, до плеч, распущенные светлые волосы, эти картинные позы, взывающие к немедленной эрекции! Однако ж Марина Влади, потрясая воображение советских мужчин, а потом и Высоцкого, мое воображение почти не затронула. А вот второстепенную роль в этом фильме играла та самая Николь Курсель – и с нею флиртовать хотелось безумно.

Крепко сжимая в руке французский для 5-го класса, я шел бодрым шагом на Исковскую, и произносимые мысленно «Мадам!», «Мадемуазель?!» соответствовали, по-видимому, на лице моем гримасам столь залихватским, что встречные юницы и гражданки испуганно уступали мне дорогу.

Как и ожидалось, горячие печенюшки успели прямо к моему приходу, но метал я их в рот без всякого гурманства, нетерпеливо ожидая, когда же дед погрузит меня в журчание звуки языка бретеров и соблазнительей. Это значительно позже я узнал, что французы, в большинстве своем нимало не элегантны и не похожие на любимых героев игривых романов и повестей, истинным языком любви считают итальянский. И понятно, что, поведай я деду о своей мечте говорить о любви на языке любви, он с куда большим удовольствием учил бы меня итальянскому, и произносил бы я ласковые итальянские слова со страстью и певучестью голосистых гондольеров. Но, крепкий «задним» умом, тогда я нырнул всем своим недоразвитым «передним» в океан галльской фонетики. Однако дьявольщина! Почти сразу, «отфыркиваясь», обнаружил, что ненавидимый «the table» превратился в ненамного более благозвучный «летабль», что привычные «one, two, three...» звучат по-французски весьма похоже... ну, есть разница, конечно... но не более, как если бы зануда-училка, одетая в длинную, заштрихованную светлой кошачьей шерстью, юбку, перестала бы делать из своих бесцветных губ ротик снулой рыбы, а сложила бы их несвежим, мятым бантиком.

Дед быстро почувствовал угасание моего энтузиазма и с облегчением, поскольку учебник пятого класса явно вызывал у него тошноту, сказал:

– Так дело не пойдет. Так языки не учат! Возьми свои обожаемые и абсолютно пустые «Три мушкетера» на французском и на русском, сравнивай, работай со словарем, заучивай слова, а я поставлю тебе произношение и грамматику. Но учти, заниматься надо ежедневно. Сможешь?

– Нет, – честно признался я.

– А я в Херсоне учил именно так. Но по новеллам Мериме, а не по твоим пустейшим «Мушкетерам».

– Так то вы! – промямлил я.

– Плохо! – заключил дед и погрузился в какую-то толстенную книгу.

Но не все еще было потеряно: в четыре часа дед обещал взять меня с собой в библиотеку расположенного неподалеку хлебозавода, а потом, как я рассчитывал, мы еще немного погуляем, и мне удастся задать мучивший в то время вопрос...

Да, интимные беседы с Николь Курсель, равно как и с любой другой французской кинодивой, стали разбитой мечтой, но в возрасте Керубино поменять мечту об одной заоблачной красавице на мечту о другой никакого труда не составляло, и под пеплом несбывшихся надежд сердце мое оставалось целехоньким.

А к обеду пришел дядя Абрам, младший бабушкин брат. В детстве он переболел менингитом, выжил, но превратился в вечно радостное дитя. Почему жена его, Ревека, тетя Рика, часто путающая кокетство с жеманностью, но, несомненно, яркая маленькая женщина, вышла когда-то за него замуж, понятия не имею. Подозреваю, что это должно было покрыть некие грехи ее девичества, но никаких явных следов былых шалостей – неприлично быстро после свадьбы рожденных детей – не существовало. Да и вообще она была бездетна, был у нее только солнечный, едва ли не гукающий и пускающий блаженные пузыри ребенок-муж.

Абрам работал в какой-то крупной конторе, Рика работала там же, но на куда более значимой должности. Складывая мозаику из оброненных при мне фраз, позже я понял, что Рика была долговременной любовницей начальника конторы, искренне к миниатюрной кокетке привязавшегося и пристроившего несоперника-мужа на какой-никакой оклад с весьма неопределенными обязанностями.

Приходить домой обедать Абраму позволялось редко, только тогда, когда у «начальника» не было никаких эротических планов на обеденный перерыв. Вот Абрам и заявлялся на Искровскую: иногда поесть, а иногда просто надоедало ему сидеть в конторе, тем паче, что его отсутствие сказывалось на работе остальных сотрудников скорее благотворно. Если же у любовников возникали планы не только на обеденный перерыв, но и на часок-другой после работы, то мужу назначалось время, когда он может вернуться домой, что неукоснительно им исполнялось и никаких протестов не вызывало.

Итак, пришел Абраша. Мы пообедали, бабушка загрохотала на кухоньке посудой, дед опять погрузился в книгу, а Абрам смотрел на него, буквально плаваясь от счастья находиться вблизи такого могучего ума. Время от времени он взглядывал на меня, приглашая к своему счастью присоединиться. Вообще-то экзальтация и подхалимаж мне не свойственны, но в тот день я всерьез опасался, что дед после фиаско с французским общаться со мной будет неохотно и на вопрос отвечать не захочет. А потому счел за благо в ответ на Абрашины взгляды и подмигивания закатывать глаза в молитвенном экстазе и едва ли не воздевать руки горе.

Право, даже Папа во дни великих католических праздников не бывает окутан таким благоговейным обожанием, и в результате дед, чуть не задохнувшись в невидимых облаках фимиама, решил обратиться на безмолвный народ свое пастьерское благословение. На народ в лице Абраши, разумеется, ибо мое лицо и в сотой доле так не сияло.

– Ну, что, Абраша, как дела? – спросил дед строго, однако было ясно, что при любом мало-мальски удовлетворительном ответе благословение Абрама не минует.

Неопалимая купина и Божий глас не произвели когда-то на Моисея столь же сильного впечатления, как на Абрама этот простой вопрос, прямо скажем, несколько запоздавший, поскольку вдруг замеченный дедом бедный любящий родственник уже сидел на этом же самом месте битых два часа...

Радостный наш ребенок впал в оцепенение, а пока он справлялся с нахлынувшими чувствами, дед перевел взгляд на меня, и я прочел в его взгляде, что уж мне-то, отпетому бездельнику, на вопрос: «Как дела?» и ответить нечего.

Но Абраша все же собрался с мыслями, его лицо, посмурневшее было в тяжелых раздумьях, опять засияло, как летний пейзаж.

– Хорошо, Гриша! Таки очень хорошо! Рикочка сегодня разрешила мне не гулять, а вернуться домой в пять часов.

Дед был явно обескуражен такой жесткой связью между состоянием Абрашиных дел и амурными Рикочкиными планами, но быстро опомнился, мимолетно ему улыбнулся и вновь взглянул на меня, приглашая оценить, в какую бездну скудоумия я свалюсь, не желая изучать французский ни по новеллам Мериме, ни даже по пустейшим «Трем мушкетерам». Но я, тем не менее, приободрился, почувствовав, что все ритуальные танцы на тему «Учение – свет» уже исполнены, что деду наставлять меня во французском не больно-то и хотелось, а стало быть, поход в библиотеку хлебозавода будет хорош и вопрос мой без ответа не останется.

И вот в четыре часа мы отправились таким журавлиным клином: чуть впереди дед, небрежно взмахивающий своей тяжелой тростью, а почтительным эскортом – мы с Абрашей, решившим, благо, до пяти еще было время, тоже сходить в библиотеку. Видимо, памяты были ему взбучки за несвоевременные приходы домой. «Рикочка любит, чтобы к моему приходу квартира была прибрана», – доверительно сообщил он мне по дороге, гордясь домовитой «хлопотуньей».

В библиотеке дед заговорил о литературе со скучающей дамой-библиотекаршей, преданной своей поклонницей, а я рванул к полкам «Физкультура и спорт», где с наслаждением стал перелистывать книгу Василия Васильевича Смылова «Избранные партии».

Играл я весьма средне, но магические фразы вроде «черные по дебюту получили стесненную позицию, а их слабый пункт на f6 доставит им еще немало хлопот» завораживали меня не хуже описаний рыцарских турниров. Кроме того, шел 57-й год, самый пик соперничества Ботвинника и Смылова, вторая их схватка за звание чемпиона мира, и я, в «перпендикуляр» настроениям всех еврейских родственников, отчаянно болел именно за Смылова. Во-первых, мне нравилось само сочетание: Василий Смылов – василиск, смысл, осмысленность – совсем другое, нежели Ботвинник, ботва, ботвинья. Во-вторых, сам Смылов – высоченный, с породистым гладким лицом гедониста. В-третьих, он был певцом, с небольшим, но очень приятного тембра лирическим баритоном. Насколько же все ярче доктора технических наук Ботвинника, какого-то машиноподобного, с упрямым лицом человека, ни на секунду не забывающего о намеченной цели.

К Смылову и относился мучивший меня вопрос. Но вопрос откладывался на потом, когда Абраша уйдет, а я останусь с дедом наедине; пока же комментарии к шахматным позициям, которые представлялись мне застывшими картинками великих битв Цезаря или Ганнибала, притягивали высоким, как сам Смылов, смыслом.

Абраша крейсировал между библиотечной стойкой, облокотясь на которую, дед ронял веские слова, жадно ловимые пожилой библиотекаршей, и полкой в глубине зала, привалившись к которой я пытался вникнуть в тайное предназначение очередной жертвы качества.

– Так ты играешь в шахматы? – уважительно осведомлялся Абраша.

– Играю, – почти отмахивался я.

– Надо же, какой умный растет мальчик! – бормотал Абрам, отправляясь в обратный путь к библиотечной стойке. Вскоре появлялся опять:

– Так ты-таки хорошо играешь в шахматы?

– Плохо, – честно отвечал я, и Абрам, восхищенно вздыхая, отчаливал из пункта А в пункт В, гудя, как маленький трудолюбивый пароходик:

– Ведь совсем еще ребенок, а уже хорошо играет в шахматы!

Потом мы вышли из библиотеки, и на углу стремительно уходящей вверх улицы Нагорной дед вдруг сказал:

– Расходимся, друзья мои! Абраша, ты прямо, уже начало шестого. Марик, ты вниз, к трамвайной остановке – и домой. Ну, а я – вверх по Нагорной.

– Дедушка, – попросил я, – а можно мне с вами, вверх? До следующей остановки.

– Нельзя, я хочу погулять один.

– Но почему?! Я вам не помешаю, у меня только один вопрос...

– Без разговоров! – почти рявкнул дед. – Я пойду один, вверх. И ты пойдешь один – вниз. Абраша, ступай домой, Рика заждалась!

Он резко повернулся, резко выбросил руку с тростью, оперся на нее и устремился прочь. И с каждым шагом рука выбрасывалась все энергичнее, трость взлетала все легче, а тело отталкивалось от нее все нетерпеливее.

Я, остолбенев, глядел ему вслед – и ничего не понимал. Почему мне нельзя идти с ним до следующей остановки? Почему он удаляется от меня, да что там, почти убегает, так необратимо и быстро, словно бы убеждая каждым своим шагом, что это – шаг во мне неведомое, для меня чужое? И кому теперь я смогу задать этот проклятый вопрос: почему все родственники считают Смылова антисемитом, почему, если нееврей хочет поставить мат еврею, то он непременно антисемит?

Позже я узнаю, что милейший Василий Васильевич никаким таким «анти» не был ни сном, ни духом, что настоящая дворянская порода враждебна только хамоватому быдлу... но это будет позже, а пока Абраша, подпрыгивающий от нетерпеливого ожидания встречи со своей Рикочкой, заметил мое отчаяние и пожелал утешить, продолжив беседу о шахматах.

– Ты слышал, Ботвинник со Смыловым опять играют? А Ботвинник-таки наш, айд... ты, конечно, болеешь за Ботвинника?

– Нет, – помертвевшими губами вытолкнул я, – не за Ботвинника. За Смылова.

Но у Абраши уже не оставалось ни капли терпения. Он дрожал, как ребенок, который не может допроситься в туалет, он мечтал о своей чисто прибранной квартире, из которой уже выветрился тяжкий дух чужого, сильного самца, в которой Рикочка напоит его чаем с рассыпчатым шекер-чуреком и уложит спать... милая мамочка Рикочка... и поцелует перед сном, и он будет видеть радостные сны, этот лучезарный ребенок – а как же не быть им радостным, если жизнь так чудно хороша.

И он припустил со всех ног домой, счастливо приговаривая:

– Надо же, такой маленький мальчик, а уже болеет за Ботвинника!

А дед уходил, – и уходил, как я понимал, туда, где мне места никогда не будет.

Но обернитесь хотя бы! Просто в знак того, что и сейчас, уходя, вы все же оставляете меня в другой части вашей жизни; оставляете хотя бы прощальным взмахом руки!

Обернитесь, потому что, если вы не обернетесь, то я уже никогда не приберегу для вас ни одного вопроса, ни одной мечты. Ни о французском, который вы знаете совершенно, а я не буду знать совсем; ни о Римской опере, о которой вы так интересно рассказываете и где мне так хотелось побывать вместе с вами.

Обернитесь! Даже сейчас, вспоминая, я гляжу в вашу давно уже истлевшую спину – и прошу об этой малости...

Нет, не обернулся!

## VIII

Трудно связно объяснить приятелю, одевающемуся у соседнего шкафчика, что Петька мне пересказал, как Арбен ему рассказал, что его пьяный сосед рассуждал, будто сука Гитлер думал, что Сталин – говнюк, но товарищ Сталин ему доказал, что из них на самом деле говнюк. Трудно, потому что повествование пришлось на самый конец субботнего вечера в опустевшем детском саду, где в раздевалке мы возились с бесчисленными шнурками, застежками и пуговицами под нетерпеливые окрики нашей припозднившейся домработницы Зины и под злыми взглядами воспитательницы, уже час назад возмечтавшей уйти поскорее домой. Трудно, потому что приходилось шептать, а природа наградила меня на редкость несуразным шепотом, то не слышным в десяти сантиметрах, то вдруг слышным за десять метров, тем паче в гулкой раздевалке. Я знал, что если безапелляционно запретное слово «сука», пусть даже как характеристика ненавистного Гитлера, будет взрослыми услышано, то мне здорово влетит. Поэтому этот риф я миновал с особой осторожностью, но, миновав, воодушевился и вырванное из контекста «Сталин – говнюк» прозвучало вполне явственно.

– Что ты сказал?! – дрожащим голосом спросила воспитательница, не решаясь поверить ушам своим, но видя, как помертвела Зина.

– Сталин – говнюк... – честно воспроизвел я последние слова и, почуяв неладное, поспешно добавил: – Так думал Гитлер.

Но никто уже не слушал. Зина, до того меня пальцем не тронувшая, подскочила и вцепилась в такую затрещину, что про Гитлера, пьяного, Арбена и Петьку я забыл моментально.

– Ты что болтаешь?! – вопила домработница, лихорадочно застегивая мое пальтишко и затягивая на шее шарф так туго, что способность болтать я потерял напрочь.

– Ты что, фашист, болтаешь?! В тюрьму захотел?

– Надо сказать родителям! – верещала воспитательница. – Надо принять меры! Я доложу директору!

– Не надо директору. – охрипшим от вопля голосом сказала Зина. – Вам же первой попадет. А я – могила...

Женщины смотрели друг на друга и думали об одном.

«Вдруг донесет... а я промолчу... Спросят, почему молчала, может, ты с этим жиденком согласна? А если сообщить, спросят: что ж он, в первый раз такое сказал? А о чем родители говорят? В случае чего, скажу, последить хотела... за родителями...», – решила Зина.

«Эта не расскажет, она ж у них в доме живет! – соображала воспитательница. – Не поверят ей, что мальчишка случайно... Либо родители, либо в группе... В случае чего, скажу, что решила проконтролировать группу...».

Зина выволокла из садика нас с приятелем, жившим в соседнем доме на Тверской, и началось мое восшествие на казнь. Я беззвучно рыдал (реветь в голос не позволял шарф), Зина волокла меня слева, приятель, не сказавший ни слова в мою защиту, вышагивал справа, значительный, как конвоир, и мой беззвучный плач воспринимался как трусливое «Гитлер капут!» – традиционный вопль сдавшихся немцев.

Конечно же, я знал, что детей лупят. Но что когда-нибудь будут лупить меня, да еще так демонстративно, так церемониально! А это была именно церемониальная порка, и называлась она: «Молнии – да падут на лопухую голову негодяя и да запечатают они его поганые уста!»

...Когда мы пришли домой, мать с работы еще не вернулась, а сестра подробно выслушивать Зину не стала. Она поняла, что недотепа-брат опять сотворил нечто ужасное, но собственное детство еще было памятно, и для настоящей строгости душа недостаточно окаменела. Поэтому получил я лишь пару обидных шлепков, грозное «дурак!», еще более грозное «вот, погоди, мама придет!», после чего она занялась своими делами.

До прихода матери я несколько раз порывался рассказать о том, как было дело, выстраивал, уже чуть успокоившись, правильную последовательность Петьки, Арбена, пьяного и Гитлера, но сестра углубилась в занятия и отмахивалась, а Зина шипела с присвистом, яростно-предупреждающе, как плотное облако пара, которое время от времени выпускали паровозы, сбрасывая лишнее давление в котлах. И ее «У, фаш-ш-ш-шист!» сродни было грозному предупреждению огромной машины: «Не подходи, раздавлю-ю-ю!»

Зина была у нас в доме третьей домработницей. Первые две до приезда в Баку жили в русских деревнях Азербайджана, населенных молоканами и староверами, бежавшими от преследований на окраины Российской империи. Попадались последователи и других сект, так называемых «жидовствующими» – этнических русских, окающих по-вологодски или акающих по-рязански, но исповедывающих иудаизм в самом его дистиллированном виде.

Первая домработница, молоконочка Настенька, удивительно проворная была девчушка. Квартира под ее руками сверкала: еда, хоть и простая, всегда с пылу, с жару. Помню, одевала она меня так ловко, приговаривая всякую ласковую всячину, что совсем не хотелось вырастать и учиться одеваться самостоятельно. Невероятная чистюля, в баню она бегала не раз в неделю, как весь остальной бакинский люд, без различий национальности и веры, а через день. И меня иногда с собой прихватывала, мыла властно и быстро, вертя и отдраивая, как любимую кастрюлю, и не обращая внимания на рев по причине попавшей в глаза жгучей мыльной пены. Потом мылась сама, так же тщательно отдраивая все закоулки крепенького тела, а я сидел рядышком на горячей мраморной полке, подревывал, скорее притворно, и с любопытством разглядывал грудки, торчащие, как до отказа надутые воздушные шарики, попку и веселые кучеряшки, убежавшие вниз, чтобы спрятаться между толстенькими ножками. Она же, ополаскивая в пятый или десятый раз длинные, гораздо темнее кучеряшек, волосы, ловила мои взгляды и хитренько так подмигивала, мол, смотри, пока мал! Мол, вырастешь – ни за что не разрешу посмотреть... И от подмигивания этого мне, сопляку-четырёхлетке, ей-же-ей, становилось жарче, чем от горячей мраморной полки и душных волн тепла, гуляющих по огромному, плохо освещенному банному залу.

Но подрасти при ней я не успел. Вскоре она получила письмо из дому, покручинилась немножко и сообщила: «Возвращаюсь я, сосватали меня родители». Мигом собрала вещи, чмокнула меня в макушку – и исчезла навсегда...

Вторая тоже была Настей, но вот назвать ее Настенькой язык бы не повернулся. Хмурая, некрасивая дева из «жидовствующих»; понятно, что устроиться домработницей она хотела только в еврейскую семью. Но с нами ей не повезло – ни малейших признаков соблюдения запрещений и повелений иудаизма у нас в доме не наблюдалось. От этого природная хмурость быстро превратилась в озлобление праведника, вынужденного жить в окружении всех мыслимых и немыслимых пороков. Вулкан ее ненависти загрохотал очень скоро, потому что отец, бывший тогда начальником геологоразведочного треста и всю рабочую неделю живший довольно далеко от Баку, ввалился субботним вечером, в первые сутки Песах, Пасхи, когда в доме не должно быть ни крошки дрожжевого теста, и радостно возгласил с порога, что привез купленный по дороге свежайший чурек. Настя сочла это провокацией, призвала на нас все те кары, кои Всевышний обрушил когда-то на филистимлян, моавитян и прочую языческую нечисть, и рассчиталась немедленно. Никто ей вслед не горевал...

Зина же была откуда-то из Ставрополя и приехала в Баку на поиски жениха. Замысел был вполне логичен: страна воевала на бакинском горючем, и всем, кто работал в нефтедобыче или переработке, бронь давали безоговорочно. А летом-осенью 44-го, когда армия пополнилась партизанами и призывниками с ранее оккупированных территорий, стали демобилизовывать всех, имеющих к нефти хоть какое-то касательство – так в сентябре оказался дома мой отец.

Поэтому найти после войны жениха в Баку было куда реальнее, чем в России. Задача решалась Зиной при каждом ее выходе на улицу. Когда мне приходилось пропускать садик, и мы шли с ней гулять на Приморский бульвар, она ощупывала взглядом всех молодых мужчин и по ей только известным критериям либо моментально выбраковывала, либо мысленно ставила «галочку». Если, откликаясь на ее взгляд, к ней подваливали «не те», она принималась притворно хлопотать вокруг меня, то поправляя одежду, то нежно осведомляясь, не замерз ли или не хочу ли часом пить? «Недостойные» понимали, что девушка – вовсе «не такая», и после двух-трех оставшихся без ответа фраз уходили ни с чем. Но зато, если подходили те, что «с галочкой», я немедленно отсылался побегать, и попытки не подчиниться пресекались ором и скрежетом зубовым.

Однако года полтора «не клевало». А потом к ней посватался Борис Гасанов, сын жившей под нами соседки, Надежды Тимофеевны, которую все окрестные женщины с испугом и ненавистью называли меж собой не иначе как Гасанихой.

...Услышав исполненный драматизма Зинин рассказ, мать побелела и взялась за меня основательно. Так основательно, что сестра не выдержала и сбежала на время экзекуции из дому. Никаких моих заранее заготовленных рассказов про Петьку и прочих мать не слушала.

– Пе-пе-петька сказал... – захлебывался я.

– Ах, Петька! – кричала мать и – бац! – припечатывала свой возглас очередным шлепком или тумакон. – Ты повторяешь слова какого-то подльца Петьки!! – бац! бац! – Ты не повторяешь слова своих родителей, которые любят товарища Сталина и восхищаются им! – бац! – Зина, ты слышала когда-нибудь, чтобы о товарище Сталине в нашей семье говорили без восхищения и любви?! – бац!

– Н-нет... – выдавила Зина и в общем не врала, ибо я не помню, чтобы в нашей семье вообще до того говорили о вожде, с восхищением ли, без оного ли, хотя небольшой гипсовый бюст красовался на книжном шкафчике рядом со старинной шка-тулкой китайской ручной работы.

– Значит, эту антисоветчину он слышал в садике?! – бац! – Зина, почему ты не пошла немедленно к директору?

Та, понимая, что ее загоняют в ловушку, молчала.

– Я сама в понедельник пойду к директору!! – совсем уже разошлась мать. – Нет, лучше завтра, в воскресенье, мы с мужем пойдем в органы! – бац! – Мы доложим! И если они решат отправить этого идиота – бац! – в колонию для малолетних, я соглашусь!! – бац! бац! – Лишь бы они посадили всех, кто промолчал! Всех, кто не сообщил! Всех, кто не любит товарища Сталина!!

– Не надо в органы! – заверещала Зина. – Не надо Марика в колонию! Он же нечаянно...

– Нечаянно! – вопил я, надсаживая глотку.– Я люблю товарища Сталина! Очень-очень люблю!!!

Я действительно любил товарища Сталина, о котором выкрикивал стихи на каждом праздничном утреннике, но сейчас рвал связки потому, что шестым... шестнадцатым чувством вдруг осознал: мать все проделывает не из любви к вождю, даже не в назидание мне или Зине, но для какого-то невидимого зрителя, какого-то незримо присутствующего зрителя, чье грозное – «Не верю!» – могло бы обернуться для нас на редкость плохо.

Надежда Тимофеевна, Гасаниха, почти не скрывала, что она – в доску своя в районном отделении МГБ. Стучать она начала до войны, заложила дворничиху Марусю, жившую на первом этаже нашего трехэтажного дома, до революции принадлежавшего купцу-персу. При нем на первом этаже были каморки складов, совершенно не приспособленные для жилья, но не было в стране таких нор, в которые советская власть постеснялась бы затолкать людей.



Зимой свет и воздух проникали в эти норы через крохотные оконца, выходявшие на полутемный, заасфальтированный, без клочка зелени двор, туда же выходили и двери, которые измученные жарой жильцы летом держали открытыми днем и ночью – и вонь от туалетов, мусорных ящиков и нагретого асфальта пропитывала убогую мебель и латаное постельное белье.

Маруся была совсем одинока, занимала самую темную и вонючую комнатенку, болела, как и многие соседи, туберкулезом и целыми днями махала быстро стирающимися метлами на окрестных улицах и во дворах. Как-то раз в сердцах пожаловалась Гасанихе: «Метлы горят, а управдом-гнида новые не выписывает. Что ж это за власть такая жадная!» И все. И сгнула в лагерях. Не оппозиционер, не вредитель, не агент разведок – просто харкающая кровью дворничиха. Ни уму не постижимо, ни безумием не объяснимо.

А когда вдосталь напелись «Если завтра война...» и настало это накликаемое «завтра», то к обычному перечню врагов народа добавились еще и паникеры. Тут Гасаниха развернулась: рыскала по Крепости, стояла в очередях, знакомилась с женщинами, без промаха выцеливая самых осунувшихся, с потухшими глазами, и заговаривала о том, что опять-де наши отступили, и карточную норму опять урезали... Провокатором она была от дьявола, удачливым была провокатором, хотя и загуляла вскоре молва, что стучит сука, стучит с извращенной фантазией, стучит вдохновенно, чтобы отмазать от военкомата и милиции своего прибалтненного бугая сына. Муж, неведомый мне Гасанов, погиб на фронте, она нацепила черный траурный платок – и теперь на ее речи откликались чаще. Скольких она так погубила, не знаю. Но сына отмазала.

После войны из соседнего дома выселили две греческие семьи – Сталину в ту пору чем-то не угодила Греция; потом в немилость попал Тито, и с соседней улицы выслали красивую сербку, и Гасаниха громко жалела греков, сербов, заодно чеченцев и ингушей, но никто уже с ней в эти разговоры не вступал, отмалчивались. Дела стукаческие пошли хуже, сына со всех работ выгоняли, он сидел дома, пил и пел блатные песни, акком-панируя себе на плохонькой гитаре двумя-тремя сбивающимися аккордами.

Вот такой женишок появился у Зины весной 52-го, после двух бесплодных лет. Как водится, пообещал бросить пить, начать работать, не покладая... но денег на принятые у азербайджанцев подарки суженой – как минимум, на пару колец, зимнее и демисезонное пальто – у него не было. Гасаниха, хоть и бывшая некогда замужем за азербайджанцем, «чучмеков этих» презирала с истинно лакейским высокомерием, а потому идею таких подарков отмела напрочь. Однако ж при этом приданое, «какое у нас, русских, положено», с Зины истребовала.

Домработница пребывала в смятении: лучшего жениха на горизонте видно не было, а мать моя намеки на то, чтобы одолжить, а по сути подарить деньги на приданое, вроде бы и не понимала.

Хотя в повседневности мать любила понуть и пожалеть себя, но в минуты опасности не раскисала, мыслила с точностью хорошего начальника штаба, а потом, не считаясь с потерями, с упорством полководца воплощала замыслы и планы. Отец тоже оказался на высоте. Он приехал со своих буровых поздно вечером, выслушал мать и, посмотрев на меня строго, но с плохо скрытой жалостью, сказал на максимальном форте своего хорошо поставленного металлического тенора:

– Я, как коммунист, должен еще трижды подумать, имею ли право отдавать его в лучшую школу Баку. Пусть сидит дома, сторожит квартиру. Все равно с такими куриными мозгами больше, чем сторожем, ему не быть.

Он говорил, особенно четко выговаривая слова, направляя звук в пол, и я по наитию, ничего тогда о Гасанихе не зная, вдруг представил, что она, забравшись на стол, а потом на табуретку, держится, чтобы не упасть, за абажур, задирает голову,

внимательно слушает отца и приговаривает: «Конечно, нельзя его в школу! Сразу в колонию!»

Ночью родители долго шептались и через несколько дней объявили Зине, что дают ей деньги на приданое. Вскоре сыграли свадьбу, где мать была главным действующим лицом со стороны невесты.

Вплоть до сентября я трясся при мысли о том, что во всех школах узнают о происшествии, и меня не возьмут ни в одну: ни в 6-ю, где учились сыновья всего республиканского и городского начальства (потом стали учиться и дочери, когда через два или три года отменили раздельное обучение), ни в самую захудалую, на окраине, в Черном городе или на Баилове. И вплоть до сентября я каждый день протирал бюст вождя чуть увлажненной тряпкой, и руки мои дрожали от невысказанной мольбы о помиловании.

А еще, чтоб делом доказать любовь, прочитал сохраненные отцом газеты, вышедшие в декабре 49-го, к сталинскому юбилею, да не просто прочитал, а изо всех сил пытался вникнуть...

Но все обошлось. В 6-ю школу меня приняли. На самом первом уроке Валентина Даниловна подняла руку по направлению к висящему над доской портрету и дрогнувшим от любви голосом спросила:

– Ученики! Знаете ли вы, кто это?!

– Сталин!! – закричал класс, а я – громче всех. А потом, когда остальные замолчали, добавил:

– Иосиф Виссарионович! Генералиссимус!

Очень мне хотелось рассказать о многих его великих свершениях, особенно о десяти сталинских ударах – от битвы под Москвой до взятия Берлина, но Валентина Даниловна меня остановила:

– Ученик Берколайко! Отвечать можно только тогда, когда я задаю вопрос!

И прочитала несколько стихотворений Лебедева-Кумача, Джамбула, еще кого-то и ни разу не произнесла ни одного слова из тех, что распирали меня: «индустриализация», «стратегический гений», «проблемы языкознания» – и с той самой минуты я в школе разочаровался навсегда.

Борис Зину часто бил, деньги пропивал, и она приходила просить их у матери, неизменно при этом приговаривая:

– Надежда Тимофеевна опять спрашивала, за что тогда «верхние» мальчишку наказывали? С какого перепугу он вопил, что любит товарища Сталина? Но я ничего не сказала...

Мать ей деньги давала, опять же неизменно добавляя, чтоб помалкивала, потому как и сама в случае чего сядет. Потом Зина устроилась на грузовое судно, мотающееся по Каспийскому морю, а вскоре Гасаниха напела сыну, что невестку видели выходящей под утро из каюты старпома. Борис, хмельной уже с утра, понесся в порт разбираться с соперником, но там его толково отметелили, и он вернулся домой убивать жену, которой Гасаниха не давала убежать, несмотря на все ее мольбы.

В тот день я болел и в школу не пошел. Хорошо слышал, как Зина заходила в рыданиях, кричала, что ни в чем не виновата, что подрабатывала на судне еще и уборщицей и прибирала в каюте старпома, пока тот был на предутренней вахте. Гасаниха молчала, а вернувшийся Борис на все оправдания ревел глухо: «С-у-у-ка!» – и бил...

Как ей удалось вырваться из квартиры, не представляю. Видел только, прикинув к окну веранды, как на каменной лестнице со второго этажа на первый Борис одной рукой удерживал рвущуюся вниз Зину, а на нем висела Гасаниха, пытаясь перехватить другую его руку с ножом. Он все же полоснул жену по спине, но не достал, располосовал только платье... от этого движения и вылаканной водки пошатнулся – и Зине удалось убежать.

Больше я ее никогда не видел, мать потом рассказывала, что сумела в последний раз передать немного денег, и та уехала в Красноводск.

Долго еще я кричал по ночам, когда видел во сне занесенный над Зиной нож. Кричал – и плакал от страха и жалости. Но наяву ее не жалел и долго еще помнил, как пытался рассказать... объяснить... и это «Фаш-ш-ш-шист!» со злобно свистящим «ш».

Через полгода после всего этого Гасаниха слегла с раком. Орала от боли, забываясь только водкой, которую подносил сердобольный сынок. Но, видно, нечасто маменьку баловал, лил водку в основном в себя и заглушал ее стоны все теми же блатными песнями под все те же два-три аккорда на плохонькой гитаре.

На похороны Гасанихи никто из соседей не пришел. Гроб из узкой двери выволокли Борисовы собутыльники, часа через два вернулись и устроили поминки – попойку с матом и мордобоем.

Но все это было уже в году 57-м, когда мать о моем крамольном высказывании в адрес вождя рассказывала с улыбкой. А до того была еще зима 53-го года.

## IX

Учиться в первом классе было скучно. Полгода мы заполняли страницы палочками, овалчиками, хвостиками будущих «б» и обрубками будущих «у» и «д». Понукаемый бесчисленными сравнениями с сестрой (она и сама впервые услышала, какой, оказывается, была умницей и искусницей), я добивался в чистописании – так назывался этот онанизм – заметных успехов. Приобрел в итоге разборчивый ровный почерк при безобразно низкой скорости письма и никогда не успевал записывать не только лекции, но даже и тезисы интересующих меня докладов на конференциях и семинарах.

Угнетала сырая и ветреная осень-зима; вставать затемно было распределенным на много дней исполнением смертного приговора.

Сестра доводила меня до переулка, в котором стояла наша 6-я школа, а потом со всех ног неслась вверх по Коммунистической, в свою женскую... мимо музея истории большевистских организаций Азербайджана... мимо филармонии с замечательным залом, в котором нефтяные магнаты начала века давали по-восточному пышные балы, а чудом уцелевшая интеллигенция середины несчастного столетия аплодировала Рихтеру, Гилельсу, Ойстраху. И были эти аплодисменты раскованными и благодарными, в отличие от дежурно-фанатичных оваций в честь живого бога, чья многометровая статуя – здесь же, через дорогу, совсем рядом – вознеслась выше купола храма музыки, выше минаретов и колоколен церквей.

Но ближе к Новому году сестра взбунтовалась. Она уверенно претендовала на золотую медаль, отличие по тем временам редкое, а из-за моей копошливости часто опаздывала на первый урок, что, опять же по тем временам, считалось вопиющим. И родители наняли пожилую неработающую женщину, Бусю, которая отводила меня в школу, днем приводила домой, кормила и оставляла одного до прихода сестры или матери.

Своих детей у Буси не было, и она жалела меня – слезливо, но как бы из других пластов бытия, как я потом жалел от роду несчастного Оливера Твиста. Она приходила по утрам, к той минуте, когда я уже переставал заталкивать в перетянутую отвращением гортань комковатую манную кашу и начинал собираться «на выход». Поскольку помогать мне одеваться запрещалось категорически, она присаживалась у стола с чашкой чая и здоровенным куском хлеба под лоснящимся слоем сливочного масла (отец получал его в спецраспределителе «Азнефти»), звучно, со вкусом, жевала и громко, со вкусом причитала по любому поводу.

...Глядя, как я пристегиваю к резинкам, свисающим со специального детского пояса, сортирно-коричневые, ребристые чулки:

- Ой, чулочки какие толстые! Вспотеет мальчик – и ножки в кровь разотрет!  
...Глядя, как неловкими пальцами застегиваю ученическую тужурку:  
– Ой, китель какой тяжелый! Как же бедный мальчик будет его таскать весь

день?!

...Потом по поводу чересчур длиннополого пальто. Потом по поводу ветра-снега-дождя... И вот, наконец, жалеющий сам себя с минуты пробуждения, а ею – так вообще оплаканный, я вхожу в класс, где неумолимо зоркая Валентина Даниловна усматривает на пальцах едва заметные чернильные пятна и отсылает отмывать их в едко воняющий хлоркой туалет. А там весело. Там особенно испорченные и отчаянные курят, смачно сплевывая густую от никотина слюну. Там, чтобы исчезли те самые пятна, трут руки о стены, которые белились минимум раз в месяц, но известь быстро исчезала под ученическими ладонями. Там обсуждаются новости и сплетни.

Там, вскоре после январских каникул, я услышал, что сучары-евреи-врачи-отравители изничтожают русских людей.

Сообщил эту новость Евдокимов, переросток из третьего класса. Было ему лет одиннадцать, его то переводили «условно» в следующий класс, то оставляли на второй год, с нетерпением ожидая, когда же ему исполнится шестнадцать, чтобы сплавить в «ремеслуху». Когда мы перешли в пятый класс, он ненадолго оказался с нами. Уже вовсю курил анашу, и с лица его не сходила плотоядная ухмылка садиста. Терроризировал нас страшно, особенно выделял меня, и довел как-то раз до такого испуга, что я с размаху всадил в его щеку (а метил в глаз) ручку с металлическим перышком. Мне вlepили тройку за поведение, его из школы наконец-то выгнали, но много раз впоследствии дубасили мы друг друга в «крепостных» подворотнях. Дубасил в основном он, но до сих пор горжусь, что пощады не просил.

Сообщив тогда в туалете о врачах-отравителях, «убийцах в белых халатах», Евдокимов нацелил на меня мясистый, грязный палец и угрожающе спросил:

– Слышь, ты! У тебя родители тоже доктора-профессора?

– Нет, – с готовностью ответил я. – Нефтяники.

И мысленно порадовался тому, что матери не удалось стать врачом, о чем она жалела всю жизнь.

– Нефтяники... – процедил Евдокимов и вlepил мне в качестве аванса здоровенный щелбан. – Знаем мы таких нефтяников!

Но тут же сам получил хороший пинок от Чингиза, знаменитого школьного футболиста; наверное, стал бы он знаменит не только в школе, если б не был таким заядлым курильщиком.

– Ты чего? – заныл Евдокимов. – Чего ты за *этих* заступаешься? Вас тоже трахать будут.

– Гетверан! (Жопошник!) – выругался Чингиз. – *Нас* не будут. А ты, пацан (это уже мне), иди в класс. И если что – училке своей не жалуйся. Мне скажи.

Не знаю, что подразумевалось именно под «ленинской» дружбой народов, но, по крайней мере, среди коренных бакинцев было нормой дружелюбие к людям иных национальностей. Правда, неприязнь к русским («Колонизаторы!») все чаще начинали демонстрировать молодые интеллектуалы азербайджанцы, обучавшиеся в аспирантуре в Москве и Ленинграде, словно набирались там, кроме знаний, еще и вони от цэковских и гэбистских интриг.

В Нагорном Карабахе почти каждый год были столкновения, иногда кровавые, так что, когда Горбачев в конце восьмидесятых скулил, что в ЦК ничего не знали о тлеющем карабахском конфликте и об армянских притязаниях на эту землю, я понял, что стране, лидер которой либо врет беспардонно, либо витает в облаках, такой стране недолго осталось.

Но вот вирус московско-питерской юдофобии по Баку не гулял никогда, тем более, что в Азербайджане очень издавна жили горские евреи, которых государство

именовало татами и евреями не считало. Внешне они почти неотличимы от азербайджанцев, и когда в Москве или Киеве особо носатых или картавых уже выкидывали из трамваев, по Баку прошелестел слух, что горские решили взять «европейских» под свою защиту, хотя в другие времена общины почти не соприкасались и даже на еврейском кладбище могилы никогда не перемешивались. Этот слух заставил притихнуть самое отребье, и предстоящей высылке евреев в Биробиджан вслух никто не радовался. Правда, Гасаниха под неуклюжими предложениями несколько раз к нам поднималась и зыркала вокруг оценивающим взглядом. Наверное, в райотделе МГБ ей пообещали нашу квартиру.

Зато управдом, встретив мать на улице, задал пару пустячных вопросов, а потом, глядя куда-то в сторону, пробормотал:

– Списки сверили...

– Какие списки? – не поняла мать.

– Плохие списки... – все так же невнятно бормотал он. – Некоторых жильцов списки... Не всех жильцов, а некоторых... И в Баладжаре эшелоны начали собирать.

Дед, когда мать передала ему этот разговор, внутренне уже был ко всему готов. Он каждое утро ходил в баню и надевал чистое, видимо, всерьез надеясь, что его пристрелят за попытку оказать сопротивление. К Курносенькой ходить перестал, чтобы не привлекать к ней и к детям теперь уже явно лишнее внимание. Так что слова управдома не обсуждал, сказал только матери:

– Попроси Зиновея (так звал он моего отца), пусть якобы заболел и перестанет мотаться в свой дурацкий трест. Попадете в разные эшелоны, потом можете никогда и не встретиться.

Но отец наотрез отказался манкировать любимой работой. К счастью, с ним почти тайно встретился Владимир Андреевич Сапунов, начальник райотдела МГБ в Локбатане, где раньше базировался отцовский трест, и пообещал, что предупредит накануне ночи «Ч», чтобы отец успел домчаться до Баку... Сапунов вообще был для отца почти ангелом-хранителем. На пятидесятилетие привез ему из Локбатана своеобразный подарок – пачку поступивших на него доносов. И анонимных, и от некоторых работников треста, почитавших себя отцом обиженными, и просто от стукачей по призванию. Доносам этим Владимир Андреевич не дал когда-то ходу, а пачка была довольно толстая.

Я, конечно, тоже чувствовал, что надвигается что-то неладное. Никто не хотел мне объяснить, зачем стоят наготове четыре набитых до отказа чемодана, зачем на всю мою одежду мать нашла бирочки с именем и фамилией. Иногда ловил какие-то обрывки странных разговоров, например, мать говорила забежавшей на минуту поплакаться тете Шеве, своей сестре, что у Багирова вроде жена-еврейка, и он хлопчет, чтобы бакинских евреев разрешили выселить не на Дальний Восток, а в какой-нибудь отдаленный район Азербайджана. Меня подслушанное воодушевило чрезвычайно: а вдруг мы попадем в Нахчыван, горный район у самой границы, и я помогу пограничникам поймать шпиона, а за это мне подарят овчарку и разрешат носить пистолет.

У забежавшей поплакаться тети Шевы была своя беда, она же и радость: второй ее муж, Коля Рябинкин. Сын известного в Баку столяра-краснодеревщика воспитывался в стойкой неприязни к «коммунякам» и евреям. Прошел войну, служил потом в нашей коммандатуре в Вене... и вдруг особисты спохватились, что он слишком долго когда-то выходил из окружения. И машина закрытулась. На допросе дядя Коля со всей силой своего буйного характера послал смершевцев на х.., угодил в лагерь, там тоже не утихомирился, за что бывал неоднократно бит шомполами, однако потом все же был отпущен на временное поселение в Баку. Означало это, что он был обязан раз в полгода являться в райотдел МГБ за разрешением на дальнейшее проживание в своем же родном доме. Но поскольку на беседах тих и смирен не был, то каждый раз полу-

чал предписание покинуть Баку за 48 часов. Старик-краснодеревщик вздыхал и, проклиная буйный характер сына, плелся в райотдел с подношениями и предложением смастерить еще что-нибудь краснодеревное. На том и наступал временный штиль.

Но когда Коля привел в родительский дом мою тетку, отец его получил удар воистину смертельный. Еврейка, вдова погибшего на войне офицера, с дочерью на руках! Но сын был непреклонен, любил Шеву с какой-то яростной нежностью, с отелловской ревностью и рыцарской решимостью убить всякого, кто задержит на жене взгляд, и любого, на кого слишком, по его мнению, долго посмотрят ее полыхающие опасным огнем глаза.

Так вот, услышав про грядущее переселение, дядя Коля заявил, что поедет с женой – и баста! Желательно на Южный полюс, где из самцов – одни пингвины, но можно и к черту на рога, в частности, на Дальний Восток. А Шева, хоть и радовалась такой беззаветной преданности, жаловалась, что Коля наверняка попытается придушить какого-нибудь конвоира и получит пулю еще до Баладжара, ближайшей к Баку станции.

Среди всего этого ожидания беды безмятежной оставалась только Буся, а радостно-деятельным – я.

Бусин покойный муж, неплохой меховщик, обращался, видимо, с женой, как с драгоценной шкуркой, пушил ласковыми дуновениями, гладил исключительно по шерстке, и она, как избалованная кошечка, приобрела счастливую уверенность в непрременном наличии молочка в блюдечке и кусочков мяса в мисочке. А потому ни о каком выселении не думала, от мрачных прогнозов отмахивалась, зато с готовностью лила легкие, сладкие слезы над толстыми «переживательными» романами и моими чересчур грубыми чулочками.

Ну а я в преддверии жития на границе составил план самоподготовки к выслеживанию и поимке врагов: необходимо было научиться бесшумно бегать по пересеченной местности, ползать по-пластунски и мощно бить под дых. К концу февраля уже умел носиться по комнате, как по дремучему лесу, не натываясь на прихотливо раскиданные деревья-стулья и пни-табуретки. Правда, шум при этом производил изрядный.

А потом взорвалась весть о болезни Сталина. Мать объяснила мне, что такое артериальное давление, инсульт и дыхание Чейна-Стокса. Все это я пересказывал в классе, меня слушали, раскрыв рты, но итогом наших обсуждений всегда было уверенное: «Поправится!» Конечно, умереть может любой – это мы, дети 45-го года, прекрасно понимали. Конечно, и Сталин когда-нибудь умрет, но это будет потом, совсем-совсем потом, когда он улыбнется доброй, усталой улыбкой и скажет Земному Шару: «Я дал вам все то, о чем вы мечтали. Я привел вас вперед, к победе коммунизма (лозунгами «Вперед, к победе коммунизма!») были увешаны все присутственные места). Теперь вы справитесь без меня. А на тебя, Марик, я не сержусь, я знаю, что это не ты назвал меня говнюком, знаю и про Петьку, и про Арбена, и про пьяного!»

А я заплачу от счастья и скажу ему: «Спите спокойно, Иосиф Виссарионович!», и он уснет вечным сном, именно уснет навечно, а не просто как-то там умрет... но тогда причем тут инсульт и дыхание Чейна-Стокса?

Однако страшная мысль о возможной смерти вождя пронзила меня 3 марта, когда, выходя из туалета, мой одноклассник Кямал вдруг спросил: «А ты как думаешь, Он – срет?» Чудовищно жестокий был вопрос! Неужели же Он, Сталин, Генералиссимус – как Кямал... как я сам... приспускает штаны, трусы, присаживается на корточки или на горшок (о существовании унитазов я тогда не подозревал), тужится... и ...?

«Нет!» – твердо ответил я Кямалу, но сомнения остались.

Так срет он, как все мы, или нет?! Если нет, то будет и вечный сон, и слова прощения для меня, и все прочее – сверхчеловеческое и невыносимо прекрасное. Если же да, то...

И когда диктор замогильным голосом сообщил о смерти, я не загоревал и не испугался, а неожиданно зряче проинтуичил: ага! Значит, да! Значит, как все мы! Значит, уж как-нибудь и без него... перетопчемся, пережеем, переживем...

А вот кто испугался, так это Буся. Страшная брэнность всего сущего, скрытая от кошечки даже после смерти мужа, теперь открывалась ей на каждом шагу... а еще по несчастному совпадению, как совсем уж горестное лыко в ту же траурную строку, выяснилось вдруг, что оставшиеся после мужа несколько недешевых шкурочек внезапно тронула порча.

И она кинулась на ежедневные траурные митинги, волоча за собой меня и всем забывая о грубо трущих чулочках. И выла утробно вместе с несметной толпой, сбившейся под злым ветром с Каспия в черную недвижимую массу на площади перед Домом правительства, когда к микрофону на Мавзолее подошел Молотов, сказал: «Дорогие товарищи!..» и заплакал...

И Валентина Даниловна закаменела в непритворном горе. Во все дни траура, все четыре урока она заставляла нас замирать на неудобных скамейках парт, а сама, не переминаясь и не пошатываясь, стояла у доски, под Его портретом, окаймленным черной лентой.

Иногда по классу проходило судорожное шевеление от непроизвольно дергающихся застывших мышц, и тогда она молча поднимала правую руку к портрету и становилась похожа на неумолимую «Родину-мать» с известного плаката, которая звала и звала всех пока еще живых выместить и своими костями все ту же бесконечную дорогу из Ниоткуда в Никуда.

## Х

Историки пишут, что первый смертельный удар сталинской Империи нанес Хрущев своим докладом о культе личности на XX съезде. Но мне кажется, что самые-самые первые удары она получила в марте-июне 53-го года. Когда вдруг поняли, что придавивший всех миллионнотонный сапог был надет на всего лишь смертную и подвластную тлению ногу. Когда в начале лета был неприлично легко свален всесильный Лаврентий, объявленный всего лишь давним агентом иностранных разведок. Когда среди привычных сообщений о рекордных плавках и неслыханных темпах посевной невзначай промелькнуло, что «дело врачей» было, оказывается, затеяно каким-то неизвестным Рюминым – и сами собой рассосались эшелоны, канули списки, и распаковались заготовленные к ночи «Ч» тюки и чемоданы.

И тогда мелькнуло в головах, что не всемогущая и безошибочная Машина затягивает живую нашу плоть между своими безостановочно вертящимися валами, нет, это нечто гигантское, но слепое, прет напролом, прет не по картам, не по звездам и даже не по чутью, а так... наугад...

И само собой вспоминалось, что и динозавров, и саблезубых тигров, и мамонтов пережили, перешуршали верткие неприметные тараканы... так, может, пусть они там, наверху, дергают свои рычаги, командуют «Полный вперед!», а мы снизу радостно рывкнем им в ответ: «Есть полный вперед!», а сами шныр-шныр... шур-шур... да за крошечками, да на тепло, да по запаху....

Может, и не мелькало в головах ничего подобного, но никогда так дружно не собиралась на Исковской вся родня, как на седере 53-го года.

Единственный на моей памяти раз – вся родня, вся без исключения. Единственный, потому что летом этого же года сестра уехала учиться в Ленинград, потому что в следующие годы кто-нибудь да не приходил. То болели, то были в отъезде, а то и уходили туда, где нет ни седегов, ни буден.

Ах, как веселились тогда? Как хохотали – освобожденно и молодо! Как любовно смотрели друг на друга!

Как красив был дядя Миня, так особенно красив, как голливудские звезды в свалившееся с неба мгновение хеппи-энда. Какой теплотой окутывала мир тетя Этя, просто окутывала, ничего от него взамен не ожидая и не требуя. Как шумно наслаждались их сыновья, улыбочивые красавцы Борис и Георгий, приготовленной бабушкой фаршированной щукой. Как обаятельно улыбался мамин младший брат. Как жадно пил он вино, забыв о насмерть простуженных в боях под Сталинградом почках.

И даже мой отец присутствовал не только телесно; он и мысленно, и душой был здесь, на Искровской, а не на своих буровых, где скважина за скважиной проходились впустую, без нефти и без явных признаков ее.

И даже мать, не признававшая застолий, где не она бы управляла беседой, временами доброжелательно молчала, позволяя вести беседу другим.

Абраша, конечно же, беседу не вел, но зато глаза его горели праздничным салями и куражливой радостью местечковых танцев.

А как слушали сестру, когда она пела хватаящим за сердце теплым голосом, как горделиво перешептывались: «Наточка идет на золотую медаль... Как Гриша когда-то... наверное, в него... так часто бывает с первыми внуками!»

Как подшучивали над Колей Рябинкиным, что собрался, мол, бедолага ехать с женой в самое что ни на есть еврейское осиное гнездо. А он кричал в ответ, что разве можно отпускать Шевку хоть на день – упорхнет! И Шева, притворно сердясь, светилась от счастья, что ее так любят и так ревнуют.

И бросил тогда дядя Коля фразу.

Программную, как сейчас бы сказали, фразу.

– Вот что, дорогие мои евреи! – сказал он. – Можно, конечно, вас любить или не любить, это личное дело каждого. Но пытаться совсем уж сильно вас давить – опасно. Кто пытался, тот плохо кончал.

Дядя мой замечательный и шумный, спасибо вам! Только нет особого толку в том, что они плохо кончали. Скверно то, что мы позволяли им начинать.

А потому пора, наконец, прекратить привычные причитания: ах, этот – антисемит, а тот – так вообще юдофоб. Да пусть будут кем угодно! Пусть считают нас какими угодно – жестокими, зловещими, жадными или пархатыми. Главное, чтобы знали: никогда больше мы не будем беспомощными жертвами.

Вот какой толчок дал мне тот седер на Искровской, седер 53-го года. Вот почему до конца дней своих буду я благодарен тому бесшабашному веселью.

И дед тоже веселился. Веселился наш патриарх, гордясь веселящейся родней.

Только время от времени поворачивал он голову к закрытым ставнями окнам – и тогда улыбка вдруг исчезала. Словно видел на темной Искровской Курносенькую – и просил прощения за то, что у нее не бывает таких веселых праздников.

И словно просил заранее прощения за будущие двенадцать дней своего угасания, когда под этими же окнами, на выжигаемой солнцем Искровской, она будет плакать безостановочно и безутешно. И за невыносимо жаркий день своих похорон, когда ей не разрешат подойти к гробу, чтобы рядом с его задумчивым – даже во смерти – лицом, под древнюю еврейскую молитву склониться в русском прощальном, поясным поклоне...

*Я не ручаюсь за точность описаний событий, фактов, улиц, домов, игры цвета и смесей звуков и запахов; не ручаюсь за точность дат.*

*Ручаюсь лишь за то, что здесь нет ни одного выдуманного персонажа.*

*Я стал часто видеть их во сне, а просыпаясь, вспоминаю, что плакал, наблюдая за ними, разговаривая с ними, любя их. Не знаю, то ли это слезы горечи оттого, что они удаляются от меня все дальше, то ли, наоборот, слезы примирения с тем, что расстояние между нами сокращается с каждым днем, каждой ночью и каждым сном.*